

Фёдор Углов

Воспоминания русского хирурга. Революция и две войны

© Углов Ф.Г., наследники, 2015

© ООО «Издательство АСТ», 2015

* * *

Глава I

После бессонной ночи, проведенной у койки тяжелого больного, оперированного мною, я возвращался домой. Дышалось легко, свободно, и хоть солнце еще не взошло, пряталось где-то за высокими домами, оно угадывалось в игре золотистых бликов, пробегающих по оконным стеклам, по тонкому утреннему ледку лужиц на асфальте.

Радостно было видеть бодрые, повеселевшие лица прохожих – без оружия, без противогазных сумок. Надписи на стенах зданий – с указателями ближайших бомбоубежищ, с предупреждением об угрозе артобстрела – были уже вчерашним днем, тускнели, не подновляемые за ненадобностью краской, и со спокойной деловитостью бежали по улицам автофургоны, помеченные такими будничными и такими дорогими словами: «Хлеб», «Продукты», «Овощи»...

Как волновал он, после блокадный Ленинград!

У трамвайной стрелки пожилая женщина в брезентовой куртке, по виду заводская работница или строитель, удерживала за плечи рыдающую девушку, а та вырывалась и сквозь слезы твердила: «Нет, нет, нет!...»

Я подошел к ним, спросил, не нужна ли помощь – я врач...

– Никто не поможет мне, никто! – крикнула девушка.

– Глупая! Сумасшедшая! Легла бы под трамвай! – Женщина ругалась и в то же время успокаивала девушку, говорила, что теперь, когда одолели войну, можно поправить любую беду...

– Да, да! – поддержал я, хотя по сбивчивым словам девушки, по затрудненному и специфическому дыханию понял всю безнадежность состояния ее здоровья и все же сказал твердо: «Не делайте глупостей, мы вас вылечим!»

Назвал адрес нашей клиники.

На что надеялся я, обещая незнакомой мне тогда Оле Виноградовой исцеление, избавление от невыносимых мук? Утешить ее, удержать от необдуманного поступка, – это было, пожалуй, единственное желание. Ведь мы еще не делали операций, которые могли бы вылечить Олю, мы только нащупывали пути к ним.

Когда же девушка на следующий день пришла к нам, мы, подтвердив для себя клинически серьезность ее болезни, услышали горький рассказ-признание...

* * *

Какой может быть интерес к жизни, когда новый день встречаешь в страхе? Из месяца в месяц, из года в год...

Накануне Оля добилась приема у заведующей терапевтическим отделением районной поликлиники.

Заведующая встретила холодно. Она понимала, что ничем не может помочь и, наверное, от сознания собственного бессилия говорила резко, с досадой:

– Эффективных методов лечения вашей болезни нет. Но все, чем современная медицина располагает, вам назначим...

– Плохо мне, – еле сдерживая слезы, сказала Оля. – Это же невозможно – заживо гнить и неизвестно чего ждать! Ехала к вам, раскашлялась в трамвае – все сразу отхлынуло от меня. Такой запах! И вы вот – я же вижу – отворачиваетесь... Как жить?

– Будьте терпеливы, – сказала заведующая, – вас, повторяю, лечат.

– А мне все хуже!

– А вы что ж – на чудо надеетесь?

Заведующая спросила раздраженно и тут же, стараясь смягчить свой безжалостный вопрос, поспешно добавила:

– Успокойтесь, Виноградова. Ступайте к своему участковому врачу – она поможет, сделает все, что в ее силах...

Домой Оля возвращалась, не видя дороги, не замечая ни встречных людей, ни звонкой весенней капли, ни поголубевшего, как бы раздвинувшегося от этой голубизны неба. Ей двадцать второй год, а вокруг – пустота. Проклятая болезнь! Она убивает не только организм; она убила все былые надежды, мечты – об институте, счастливых днях, заполненных работой, отдыхом, когда можно пойти в театр или с компанией друзей уехать за город, в лес... Да только ли это! Как многообразна, содержательна жизнь... для других, но не для нее! Одна лишь Надя, любимая сестричка, утешительница, рядом...

Но почему так несправедливо тяжела расплата за минуты давнего легкомыслия!

...Светлый, солнечный день поздней осени. Оля вернулась из школы, пообедала в одиночестве – мама и сестра были на работе – и побежала к подруге, за два квартала, на их же улице. Побежала налегке – в плащике, босоножках, с непокрытой головой. А бурые листья срывались с деревьев и падали под ноги.

Они делали с подругой уроки; после русского взялись за математику: было две трудные задачи, решение никак не давалось – провозились до сумерек. А потом увлеклись изобретением причесок, смотрелись в зеркало – какая кому пойдет... Совсем стемнело, на улице поднялся ветер, по оконному стеклу ударяли капли дождя. Оля собрала свои учебники и тетрадки, из-за какого-то глупого упрямства не попросила у подруги чего-нибудь теплого, что защитило бы ее от дождя и ветра. Выскочила из подъезда, отважно бросилась навстречу непогоде.

Дома Олю, озябшую, посиневшую от холода, напоили горячим чаем, уложили в постель. Но в ночь у нее начался жар, температура поднялась до 40°, а к утру девушка впала в беспамятство. Врач признал крупозное воспаление легких.

Болезнь протекала трудно. Лишь на восьмой день Оля пришла в себя, температура стала снижаться, хотя еще в течение месяца упорно держалась на 37,4–37,5°. Мучил кашель. Ни температуру, ни кашель, ни общее недомогание не могли сбить даже эффективные по тому времени лекарства и уколы.

Все же учебный год Оля закончила успешно, перешла в девятый класс. Чудесное лето с его живительным теплом и отрадным чувством свободы заставило позабыть недавние мрачные дни. Но лето промелькнуло быстро, а осенью, в пору холодных дождей, Оля, неведомо как простудившись, снова слегла в постель. Было обострение легочного процесса с повышением температуры и приступами кашля.

К желанному аттестату зрелости Оля шла через приступы болезни. В часы отчаянья поддерживала мечта: поступлю в медицинский институт, буду учиться, чтобы предостерегать людей от неожиданных болезней... Но все ее планы и налаженная жизнь семьи рухнули, сплетенные грозным словом: война! Отец в первые же дни ушел в народное ополчение и погиб. Суровой блокадной зимой умерла от истощения мать, отдававшая часть своего полуголодного пайка ей, Оле. Практичной, волевой Наде каким-то образом удалось устроить сестру истопницей при военной кухне, и, вероятнее всего, только благодаря этому Оля перенесла блокаду.

* * *

Обострения болезни все чаще укладывали ее в постель – на длительное время. Возле была верная Надя, рвалась, тянулась из последних силенок – лишь бы Оленьке стало лучше! Но болезнь неумолимо прогрессировала. Температура почти постоянно была повышенной. Оля лежала, бездумно глядя в потолок, безразличная ко всему окружающему.

* * *

Однажды лучиком надежды промелькнуло сообщение, вычитанное в медицинском журнале. Оказывается, при такой, как у нее болезни, все же делают операции – разрезают гнойники. Правда, в журнале писалось, что после таких, даже успешно проведенных операций, раны часто не заживают, остаются открытыми. И хоть страшно было представить себя на операционном столе – Оля обратилась к хирургу. Тот внимательно осмотрел ее и, вздохнув, развел руками: операцию, которая нужна ей, – увы! – в Ленинграде не делают. Луч надежды как мгновенно вспыхнул, так же мгновенно и погас...

В тот день, когда Оля была у заведующей отделением районной поликлиники, она, вернувшись домой, из случайно подслушанного разговора узнала: Надя только из-за нее не выходит замуж за любимого человека, из-за нее жертвует своим счастьем.

Вот тогда-то я и повстречал у трамвайной стрелки отчаявшуюся Олю. И этот роковой случай стал для меня толчком к ускорению большой, дотоле неведомой работы...

* * *

Гнойные заболевания легких, хронические пневмонии с бронхоэктазами и абсцедированием, пожалуй, – самая мрачная страница в истории терапии и хирургии. Терапевтическое лечение давало лишь кратковременный эффект, и большинство больных погибали от интоксикации и амилоидоза почек.

В то время (вторая половина сороковых годов) лишь немногие хирурги осмеливались вскрывать абсцессы или же по частям извлекать изгнившее легкое. Смертность от таких операций была высокой, а у перенесших операцию часто оставались бронхиальные свищи или раны.

Сколько раз в военные годы мы с горьким чувством беспомощности стояли у постели раненных в грудь, не зная, как им помочь. Они требовали операций, методика и характер которых были нам не ясны. Поэтому уже в конце войны, и особенно после нее, мы стали специально заниматься этой проблемой, много читали, экспериментировали.

Из отрывочных сведений, доходивших до нас, было известно: некоторых успехов в этой области достигли хирурги США. Крупицы их опыта были рассеяны по страницам специальных журналов на английском языке. Стало ясно: без хорошего знания языка не обойтись. И я обратился за помощью к Надежде Алексеевне Живкович. За счет скудного времени, что после работы оставалось на отдых, брал уроки – два раза в неделю по полтора-два часа. Заставлял себя литературу, в том числе и художественную, читать только на английском, со словарем, конечно; чуть ли не каждое слово выписывал в тетрадь, особенно поначалу.

Помню, первую статью по хирургии легких, небольшую по объему, я читал ровно месяц, заполнив незнакомыми словами и непонятными оборотами речи всю тетрадь. Надежда Алексеевна, кажется, была довольна мною, как учеником, а я с радостью первоклассника воспринимал даже мало-мальскую похвалу... И вскоре читал уже не облегченные издания, что выпускаются как пособия для изучающих язык, а обычные книги на английском. И хорошо запомнил, как называлась первая из них – «Scarlet pimpernel». Роман из времен первой французской революции. Увлекательная по содержанию, она стала дорога мне: сдан экзамен самому себе – читать умею!

И чем больше я знакомился с литературой по лечению заболевания легких, тем настойчивее ощущал внутреннюю потребность вплотную заняться этой проблемой. Представлялось, что мы стоим на пороге ее решения – больше упорства, больше усилий... Порог переступить можно и нужно! От статей на английском перешел к немецким журналам – хотя с трудом, но справлялся сам; французские же статьи переводила Надежда Алексеевна.

Осенью 1945 года в клинику поступила больная с множественными гнойниками в нижней и средней долях правого легкого. Чтобы вывести ее из тяжелого состояния, мы применили все, что было известно и доступно из консервативных и оперативных методов лечения. Решились даже на операцию: пересекли диафрагмальный нерв, чтобы парализовать движение диафрагмы...

Больной стало лучше, но болезнь не прошла, и гнойники в легких остались. Чувствуя себя подготовленным к радикальной операции, я обратился к нашему руководителю Николаю Николаевичу Петрову с просьбой разрешить ее провести.

– Рано, папенька, рано, – сказал он. У Николая Николаевича было обыкновением называть своих помощников «папенькой».

Я, досадуя в душе, понимал профессора: подобной операции мы не только никогда не делали, но даже не видели, как ее делают.

Веру Игнатьеву – так звали молодую, двадцатипятилетнюю женщину, мы лечили восемь месяцев, стараясь улучшить ее состояние то местным, то общим воздействием. Все это время я разрабатывал методику удаления двух долей легкого. Наконец, Николай Николаевич разрешил мне оперировать Веру.

После были сотни самых сложных операций, но эта, конечно, незабываема. Трудная сама по себе, она была еще и шагом в неизведанное...

Первое в жизни вскрытие грудной клетки, в то время, как в памяти еще свежи сообщения, что какой-то больной умер от одного прокола плевры... Плевропульмональный шок!.. При одной мысли, что я должен широко раскрыть грудь больного, мое собственное сердце сжималось от страха... А тут еще сложность: оказалось, что я не могу вскрыть грудную полость. Она была в прочных спайках, почти в рубцах, и вся анатомия легкого, которую я так тщательно изучал, изменилась до неузнаваемости. Надо было подобраться к корню легкого, к его сосудам, но всякая попытка разделить спайки приводила к кровотечению.

Пишу эти строки и как бы заново переживаю свое тогдашнее состояние...

Операция длится уже более двух часов. Наркоз не безукоризнен, местная анестезия из-за спаек малоэффективна. А я, между тем, никак не могу обнаружить сосуды, чтобы их перевязать. Сплошные рубцы. Чуть подашься к центру – того гляди перикард вскроешь, сердце поранишь. Пробую отделить спайки к периферии – задеваю легкое, оно кровоточит. А к тому месту, где должны быть сосуды, никак не подберусь! Разделяя рубцы, можно легко поранить крупный сосуд, вызвать кровотечение... Как тогда его остановить?

Но сколько топтаться на месте? Не может же операция длиться без конца.

Несмотря на непрерывное переливание крови, начало снижаться кровяное давление – грозный предвестник тяжелого шока!.. Прерываю операцию, даю больной отдохнуть чтобы давление снова поднялось.

И опять все усилия напрасны – никак не могу обнажить сосуды. От сознания, что мне ничего не удастся сделать и больная погибнет на операционном столе, – я покрылся холодной испариной. Вся воля нацелена на то, чтобы сохранить самообладание, ясность мысли, твердость рук... Николай Николаевич, пристально следивший за операцией, отлично понимавший ее трудность и мою беспомощность в борьбе со спайками, тихо сказал:

– Что ж, папенька, видимо, не удастся отдельно перевязать каждый сосуд. А больная может не выдержать... Придется корень легкого между зажимами пересекать небольшими участками и тщательно их прошивать. Иначе корень в спайках вам, папенька, не разделить...

Как благодарен был я учителю – искренне и глубоко переживал он и за больную, и за меня. И словно второе дыхание пришло, зажглась светлая искорка надежды... Действительно, почему не применить метод, не раз описанный в литературе? Он не совершенен – это ясно, но когда нет другого выхода, как быть? Действовать!

Я стал захватывать ткань в том месте, где должны проходить сосуды, пересекать и прошивать. Постепенно, идя в глубь корня легкого, подобрался к крупному сосуду.

– Осторожно, папенька, – словно уговаривал меня Николай Николаевич, и как я ни был в те минуты взволнован сам, чувствовал волнение своего наставника, – не порвите сосуд, не спешите... Пока все идет хорошо. Вы молодец, папенька...

Слова Николая Николаевича помогли мне собраться, еще осмотрительнее и в то же время увереннее продолжать операцию. И вот – наконец-то! – легочная артерия перевязана и пересечена. Важный этап пройден. Но подобных этапов в операции еще несколько.

Миллиметр за миллиметром шел я к нижней легочной вене и перевязал ее без осложнений. Остался бронх – в окружении лимфатических узлов и мелких сосудов. Его нужно обработать, чтобы не вызвать излишней потери крови. Давление и без того низкое... Пришлось второй раз делать перерыв.

И вот последний этап – спайки. Они прочно держат легкое, к ним так трудно подойти, что пришлось дополнительно пересекать рёбра и расширять рану, продлив ее от грудины до позвоночника. Весь мокрый от пота, я опасался, как бы под конец не ошибиться, не допустить непоправимое. Наконец, выделив доли из спаек, удалил их из плевральной полости. И впервые за много часов расслабил собственные мышцы. Все!..

Операция продолжалась четыре часа – долгих, как день. Не осталась, кажется, никаких сил, но расслабиться можно было лишь на секунды – перед нами лежал человек, в котором едва теплилась жизнь.

Я подробно рассказываю об этой операции и расскажу о некоторых других, потому что уверен: в книге о труде хирурга такие описания просто необходимы. Легко сказать, сделал операцию, но давайте хоть немного проследим, что же стоит за этими словами, постараемся понять, какова ответственность и та нагрузка, которая ложится на хирурга.

А пока – вернемся к Вере Игнатьевой. Всю ночь и последующие трое суток мы не отходили от больной. Пульс у нее был сто шестьдесят ударов в минуту, слабого наполнения. Николай Николаевич Петров днем и ночью по несколько раз заходил в палату – давал советы, подбадривал нас. И сейчас, через годы, слышу глуховатый голос, чувствую успокаивающее прикосновение чутких пальцев. Как это важно, когда твой учитель вовремя оказывается рядом, душевным словом и мудрым замечанием поддерживает тебя!..

На восьмой день Николай Николаевич, посмотрев Веру Игнатьеву и выйдя из палаты, сказал мне:

– Ну, папенька, если ты и был грешен в чем – все грехи снимаю. Дело идет на поправку. Поздравляю!

А через два месяца Вера Игнатьева выписалась из клиники в хорошем состоянии. Температура была нормальной впервые за много лет.

Это была победа. Большая победа. И хотя, вполне понятно, мы радовались ей, эта победа показала нам, как мы еще слабы, как мало умеем! В процессе операции выявились серьезные недостатки. Было много неясного, как предупреждать операционные осложнения, как бороться с ними.

К этому времени стали вырисовываться контуры моей будущей докторской диссертации.

...Собрав всех нас, Николай Николаевич Петров распределял темы, говорил, кому написать журнальную статью, кто должен приступить к кандидатской диссертации, а кто – к докторской. Волнуясь, я ждал – что мне? На днях я сказал Николаю Николаевичу, что хочу взять тему докторской диссертации по хирургии легких. Он промолчал. А сейчас, не дойдя до моей фамилии, закрыл совещание...

На другой день опять, как до меня дошел, – закончил разговор.

Подождав, пока все разойдутся, я попросил у Николая Николаевича разрешения поговорить с ним, вновь твердо повторил свое:

– Хочу разработать тему «резекция легких».

– Какой вы, однако, настойчивый, папенька, – покачивая головой, сказал Петров то ли с похвалой, то ли, наоборот, с осуждением. – Я ведь не специалист в этой области и не смогу быть полезным вам как руководитель.

– Сможете, – с невольным жаром и, вероятно, очень убедительно заверил я. – В специальных вопросах постараюсь разобраться сам, с помощью книг, а общее руководство и направление будут ваши, Николай Николаевич!

Учитель думал.

– Ну вот что, папенька, – наконец, сказал он, – два месяца сроку вам! Познакомитесь в основных чертах с состоянием этой проблемы, а потом скажете мне, какие вопросы подлежат разработке...

В назначенный срок я обстоятельно рассказывал Николаю Николаевичу о том, что в отечественной литературе совершенно не разработаны ни показания, ни методика, ни возможные осложнения при резекции легких.

– Как видите, Николай Николаевич, есть чем заняться, – закончил я как можно спокойнее, а сам в тревоге ожидал окончательного решения. Клинику этого вопроса постараюсь дополнить экспериментами и анатомическими изысканиями...

Тема моей диссертации была включена в трехлетний план работы кафедры. Однако хочу оговориться. О диссертации упоминается здесь только потому, что впоследствии в ней удалось обобщить определенный опыт, раскрыть новое направление в хирургии. Изданная отдельной книгой, она стала помощником в работе для многих хирургов... Меня же в тот период мало занимала чисто научная деятельность: интересовали и беспокоили люди, нуждавшиеся в помощи, люди, которых нужно было спасти.

После операции Веры Игнатьевой я с еще большей осторожностью стал думать о возможности новой подобной операции. До этого – пока изучал книги и экспериментировал на животных – думалось: сложно, но сумею! А оказалось: между экспериментом и книгой, с одной стороны, и операцией у больной, с другой – дистанция огромного размера. Ведь по сути Вера Игнатьева осталась жива чисто случайно!

Прежде всего не было ясно: правильно ли мы ставили показания к операциям, правильно ли решали вопрос, кого надо оперировать, а кого лечить консервативно? Этот вопрос в отечественной литературе не был освещен, и я усиленно читал все доступное в библиотеках Ленинграда, особенно на английском языке. Затем, обобщив данные и свой скромный опыт, написал первую статью по грудной хирургии.

Другое, к чему я стремился, – постичь все детали резекции легких. Нужно заметить, что в те годы большинство хирургов отвергало турникетный метод операции, то есть пересечение всего корня легкого или доли его, пережатого турникетом. Указывалось на огромные преимущества отдельной перевязки элементов корня легкого или доли – каждого сосуда и бронха отдельно – метода трудного и неотработанного. Поэтому, читая статьи разных авторов по методике резекции, я на трупах проверял рекомендации, вырабатывая свое суждение. Результаты поисков были представлены мною в виде обзора по методике резекции легких, опубликованном в «Вестнике хирургии».

Анатомический зал! Сколько часов проведено у его холодных столов, какие невероятные варианты возникали в голове, когда надо было приоткрыть завесу той или иной тайны...

Четырнадцать длинных месяцев с упорством сражающихся бойцов искали мы неизвестное в поставленной перед собой задаче: успешная резекция легких. Четырнадцать месяцев – от первой операции к следующей... И, право, не из-за любви к пышнословию вспомнил я тут про бойцов. У нас был именно передний край.

* * *

Разговаривая со мной, Оля Виноградова прикрывала рот платком, отворачивалась в сторону. Однако я все равно чувствовал тягостный запах гниения, и нужно было следить за собой, чтобы случайно не показать этого, не обидеть ее лишним раз! На лице Оли были то отрешенность и безразличие ко всему, то вдруг оно искажалось глубоким страданием, душевной мукой, взгляд становился затравленным, жалким, и слезы, слезы... Человеческое горе во всей своей безысходности!

Как хотелось вернуть девушку в полузабытый ею мир земных радостей. Но ведь придется удалить все легкое! Предстояла операция, подобной которой не встречалось в практике нашей страны. Мы только знали, что попытки некоторых крупнейших хирургов сделать то, что теперь хотели сделать мы, или кончались печально, или осложнения сводили на нет результаты напряженной работы.

– Вы обещали мне, – говорила Оля, – обещали!

– Вашу болезнь без операции не вылечишь, – объяснял я ей. – А подобных мы пока не делали...

– Вы обещали! – твердила Оля в слезах.

– Сделать такую операцию – великий риск, – отвечал я. – Мы не можем идти на этот риск.

Однако в моем голосе, видимо, не чувствовалось категорического отказа, и Оля уловила это. Успокоившись, твердо сказала:

– Вы знаете, что я обречена. Если не будет операции – не будет никакой надежды на спасение. Умоляю – не отказывайте... Я все равно так больше жить не могу... И не хочу! Я опять... Я покончу с собой!

Последнее было сказано с такой осознанной решимостью, что я не сомневался: она исполнит задуманное.

– Хорошо, Оля, – ответил я. – Вы ляжете к нам в клинику на обследование... Не падайте духом.

Тщательно проведенное обследование подтвердило односторонний характер поражения: правое легкое оставалось здоровым, а левое было полностью поражено мешотчатыми бронхоэктазами. Функция его была ничтожна. Оно представляло собою источник интоксикации и балласт для сердца. Ведь сердцу приходилось проталкивать кровь через нефункционирующее легкое.

Провели лечение, чтобы улучшить состав крови, уменьшить интоксикацию. Оля почувствовала себя лучше, мы увидели первую слабую улыбку на ее лице. Главное: она надеялась!

Меня же в то время смущало не только отсутствие хотя бы мало-мальского практического руководства по проведению подобной операции. Останавливала собственная неудачная попытка удалить правое легкое у больного. Такая попытка была, и хоть она принесла мне некоторую известность среди врачей, но перед самим собой я должен был признать свою неподготовленность, понял, какие незапланированные, неожиданные трудности кроются в этой операции...

То была операция больного Рыжкова, сорока двух лет, поступившего к нам с множественными гнойниками правого легкого. Консервативное лечение не принесло ему облегчения, и Николай Николаевич Петров на этот раз уже сам посоветовал мне сделать операцию, тем более что общее состояние Рыжкова позволяло идти на риск. Операция была назначена на 7 января 1947 года.

При вскрытии грудной клетки мы обнаружили большое количество спаек, которыми все легкое фиксировалось к грудной стенке. С немалыми усилиями удалось подобраться к корню легкого, обнажить легочную артерию.

Огромный сосуд с тонкими стенками был перед моими глазами. Требовалось обойти его со всех сторон. Спайки мешали этому, а любое форсирование могло привести к разрыву стенок сосуда, и тогда – катастрофа. То были минуты сильнейших душевных переживаний и сомнений!

Бережно, с огромным трудом удалось обойти пальцем сосуд, провести лигатуру и перевязать его. И сразу – падение давления до угрожающего показателя! Прервали операцию и довольно долго ждали. Давление застыло на критических цифрах. А нужно было преодолеть еще и другие травматичные моменты – перевязать верхнюю и нижнюю легочные вены, перерезать и ушить бронх, разделить спайки между легким и плеврой. Разве Рыжков выдержит – при таком-то давлении! И невозможно ждать, когда оно поднимется, – сколько можно больному быть с открытой грудной клеткой?..

Что делать? Продолжать операцию – шок и – верная смерть. А не продолжать нельзя. Из литературы я знал, что перевязка легочной артерии в эксперименте над животными

заканчивалась некрозом легкого и гибелью подопытного. А у человека еще никто артерии не перевязывал... Никогда я не чувствовал себя таким беспомощным!

В операционную вернулся отлучившийся ненадолго Николай Николаевич, потеснил нас, подавленно стоящих у стола, спросил:

– Сколько времени держится низкое давление?

– Около часа, – ответил я, – падение вторичное, почти не имеет тенденции к подъему...

– Кончайте операцию. Осторожно зашивайте рану, не прекращая борьбы с шоком.

– А как с легким? – взволнованно спросил я. – Легочная артерия-то перевязана!

– Выхода, папенька, нет, – сурово сказал Николай Николаевич. – Кончайте! Может быть, обойдется.

Последние слова учитель сказал уверенно и обнадеживающе.

Зашили рану грудной клетки, приложили все свое умение, чтобы вывести Рыжкова из шока...

К нашей радости и к удивлению, больной стал быстро поправляться, выделение мокроты прекратилось, температура была нормальная. Он пожимал мне руку, благодарил за избавление от страданий. Что я мог ему сказать? Объяснял сдержанно, что проведена лишь первая часть операции – перевязана легочная артерия, что – вполне вероятно – придется ему, Рыжкову, снова лечиться под нож...

– Конечно, конечно! – охотно соглашался он, полагая, что вся операция проходила по строго задуманному плану, радуясь, что уже после первого этапа он как бы заново вернулся к жизни – здоров, можно сказать. – Я понимаю, я готов!

Нужно отметить, что Рыжкова после операции мы наблюдали многие годы. Он чувствовал себя нормально, обострения легочного процесса у него не наблюдалось. Бесконечно благодарный нам, он охотно приезжал по вызову – для контроля или демонстрации. В свой последний приезд вдруг заявил мне:

– Не могу примириться, Федор Григорьевич!

– С чем же?

– Почему вас зовут доцентом, а не профессором!

– Рано мне в профессора, – отшутился я, невольно подумав при этом, какой нравственной перегрузки стоила мне операция Рыжкова.

– Не рано, – убежденно ответил он. – А если вам для звания профессора понадобится удалить мое второе легкое, – я готовый, хоть сейчас!

Добрый человек! Говорил он это так серьезно, что похоже было – не шутит!

Операция перевязки легочной артерии у человека, от которой он не только не умер, но даже избавился от гнойного заболевания, произвела в медицинском мире громадное впечатление. Она обещала новые перспективы, новые открытия... В газетах писали обо мне, что я – «впервые в мире...» и тому подобное. Было, не скрою, лестно читать и слышать подобные слова, однако обострилось чувство ответственности. Я хотел не случайных удач, а надежных добытых опытом результатов, которые были бы уже системой...

Еще несколько раз применяли мы подобную операцию у других больных – уже сознательно, и, как ни странно, такого поразительного успеха, как в случае с Рыжковым, добивались не всегда. Забегая вперед, скажу, что позже я поручил разработать более детально эту проблему А. В. Афанасьевой в ее докторской диссертации, с чем она, по моему, неплохо справилась. Тогда же мы долгое время не могли установить, почему легкое у больного не омертвело, в то время, когда в эксперименте у животных оно всегда омертвевало. А суть была вот в чем... Перевязка легочной артерии приводила к резкому обескровливанию легкого, но через спайки с грудной стенкой образовывался коллатериальный (запасной) путь кровоснабжения, поддерживающий питание легкого. В то же время недостаточное кровоснабжение из-за перевязки главного сосуда приводило к сморщиванию легкого и постепенному запустению гнойных полостей. Так что, сделав эту операцию отчаяния по совету Николая Николаевича, мы – пусть и случайно, однако для пользы дела – получили хороший результат. Было основание радоваться этому? Разумеется.

Приблизительно в это же время ситуация, подобная нашей, возникла в операционной у А. Н. Бакулева, и он, как и мы, вынужден был непредусмотренно закончить операцию после перевязки легочной артерии. Его больной, как и наш Рыжков, почувствовал себя здоровым. Однако отдаленные результаты А. Н. Бакулев, к сожалению, не опубликовал...

Вот что мы имели в своем активе в те месяцы, когда роковой, как я его окрестил для себя, случай столкнул меня и Олю Виноградову.

* * *

А К ОЛЕ ВСЕ в клинике привязались. Бывало, зайду в палату:

– Здравствуй, Оля!

– Ой, Федор Григорьевич, а к нам на окошко птица садится!

– Какая же птица?

– Красивая. Перышки чистит. Мы ее кормим. Ожившие глаза смотрели с надеждой. Оля надеялась на нас, была уверена, что после операции к ней вернуться счастливые дни.

Операция состоялась 5 июня 1947 года.

Применили разработанный мною волнообразный разрез с пересечением ребер. Невероятного напряжения стоило освободить от спаек легочную артерию и перевязать ее с великой осторожностью, чтобы нитка не соскользнула, но и не перерезала тонкую стенку артерии. И все это в глубине, где так легко поранить аорту и легочную вену! Тут малейшая ошибка, неосторожное, нерассчитанное движение и – непоправимая беда. Я собрал волю, что называется, в кулак, старался ничем не выдать своего волнения. И мне, и неизменным моим ассистентам – Александру Сергеевичу Чечулину и Ираклию Сергеевичу

Мгалоблишвили – необходимо было сейчас, как никогда, проявить все свои способности и умение.

В конце концов артерия была перевязана, прошита и пересечена; кровяное давление у Оли не упало, состояние не ухудшилось, и мы позволили себе сделать небольшой перерыв... Второй же этап операции при перевязке нижней легочной вены заставил пережить нас ужасные минуты. Из-за фиброза легочной ткани и смещения левого легкого в большую сторону эта вена оказалась глубоко в средостении, прикрытая сердцем и почти недоступная для хирурга. Чтобы ее обнажить, наложить на нее лигатуры, прошить и перевязать, ассистент, помогая мне, должен был довольно сильно отодвигать сердце вправо. Но сердце плохо переносит любое прикосновение, а тем более насильственное смещение... Олино сердце тут же отозвалось дополнительными и неправильными сокращениями (аритмия), и врач, непрерывно измерявший по ходу операции кровяное давление, тревожно сообщил, что оно катастрофически падает. Сердце Оли грозило остановиться. И мы вынуждены были на какое-то время отступить, дать сердцу возможность выровняться.

Ассистент вновь отодвинул сердце для продолжения операции, и через несколько минут – новый перерыв. За ним – другой, третий... Сердце с каждым разом все труднее возвращалось к нормальной работе. Стремясь как можно быстрее закончить перевязку и пересечение вены, я вынужден был предостерегать себя от торопливости. Вена натянута, и если она выскользнет из лигатуры – конец... Остановить кровотечение из короткой культы нижней легочной вены практически невозможно.

Годы спустя, с приобретением опыта, мне, правда, удавалось это сделать. Однако что за мучения были!.. Но в тот день, несмотря на большой соблазн закончить операцию как можно скорее, у меня все же хватило выдержки и хладнокровия с особой тщательностью перевязать и прошить сосуд. А когда убедился, что перевязка сделана безупречно, пересек вену...

Операция продолжалась три часа сорок минут. Три часа сорок минут и почти два года работы над книгами, эксперименты над животными и анатомические изыскания... Три часа сорок минут за операционным столом плюс многомесячное обдумывание каждой детали. И, конечно же, опыт первых трудных и весьма поучительных операций. И длительная, самая тщательная подготовка больной, направленная на укрепление ее сил, которая никак не укладывалась в «средний койко-день», но которая принесла значительное улучшение состояния Оли: мокроты стало меньше, выровнялась температура и картина крови...

После операции покоя не наступает – ни для больного, ни для операционной бригады. Или, вернее, он приходит, но не сразу. Как только местное обезболивание перестает действовать, болевые импульсы с огромной операционной раны устремляются к мозгу, а это, как правило, вызывает падение у больного кровяного давления... Борьба за жизнь человека продолжается.

И в тот день – полутора часов не прошло (я отлучился, чтобы выпить стакан чаю) – ко мне прибежали с тревожным известием: Оле плохо!

Она лежала белым-бела, с очень слабым и частым пульсом, безразличная ко всему. Срочно ввели морфий, струйно начали вводить кровь, наладили дыхание кислородом... Розовели Олины щеки, дыхание стало ровным, хорошим. Двое суток мы не отходили от нее, пока угроза не миновала. А в последующие дни особое внимание обращали на то, чтобы рана и плевральная полость не нагноились.

Тогда у нас не было никакого опыта в выхаживании подобных больных после операции. Как горячо дискутировали мы, собираясь в ординаторской, как спорили, находя нужное решение! А порой, разгоряченные, все вместе шли в библиотеку – искать ответ в книгах.

Как сейчас помню раздумчивый кавказский акцент Ираклия Сергеевича, его по-юношески пытливый взгляд, чистоту и доброту которого не могли погасить прожитые годы войны.

– Федя, а не лучше ли нам откачать всю кровь из плевры, чтобы случайно не нагноилась?

– А чем будет заполнена плевра, когда воздух всосется? – вступает в разговор Александр Сергеевич.

– Ну, диафрагма поднимется, ребра опустятся, постепенно чем-нибудь заполнится...

– Чем-нибудь она не может заполниться, – говорю я. – Туда, откуда всосется воздух, сместятся сердце и сосуды. А сосуды из-за смещения могут перегнуться, резко затруднят работу сердца.

– Подумать нужно, – не сдастся Ираклий Сергеевич.

– Я согласен с Федей, что кровь откачивать не следует, – это опять Александр Сергеевич. – Кровь свернется и зафиксирует сердце на месте...

– А угроза инфекции?

– Угроза реальная, – соглашаюсь я с Ираклием Сергеевичем. – Будем на страже! Зато, если не откачаем кровь, позднее Оле будет легче...

– Это да, – кивает головой Ираклий Сергеевич. – Но надо думать, друзья, думать! Вы знаете, что Оля мне сегодня рассказала? Сон видела: луг в ромашках, и она бежит по нему. Бегу, говорит, Ираклий Сергеевич, бегу!..

И было славное чувство в душе: рядом с тобой такие же, как ты сам, увлеченные люди, они твои товарищи по работе, мы понимаем друг друга... Как много это чувство значит для дела и как часто нам в жизни не хватает его! В ту пору я был счастлив, что нахожусь среди хороших людей, что во главе нашего коллектива стоит мудрый и благородный Николай Николаевич Петров.

Не забыть ту доброжелательность, с которой Николай Николаевич относился ко всем нововведениям, ко всем моим предложениям, направленным на разработку проблем легочной хирургии. Он лично не принимал участия в этих операциях, но часто успех нашей работы держался на вовремя поданном им совете. С бескорыстием большого человека все, что знал и умел сам, он щедро отдавал нам...

Мы не слышали от него упреков, когда случались неудачи. Николай Николаевич понимал, что они не от небрежения, а от недостатка опыта. На тернистой же тропе нового дела нас всегда поджидают непредвиденные неожиданности. Глубоко переживая наши неудачи, он в то же время оберегал нас от излишних эмоциональных потрясений, подбадривал и одновременно всем своим поведением показывал пример самого заботливого отношения к больным. Интересы больного человека ставились им превыше всего. И прогресс науки Николай Николаевич Петров прежде всего расценивал как помощь

страдающему человечеству... В книге я еще не раз вернусь к этому дорогому для меня имени.

С Александром Сергеевичем Чечулиным мы оба были доцентами, но я заведовал отделением, а он исполнял обязанности заведующего клиникой. Однако за все годы нашей совместной работы Александр Сергеевич ни разу даже косвенно не намекнул о своих формальных правах давать мне те или иные указания... Его отношение ко мне и другим строилось на уважении, стремлении помочь в новых начинаниях, не было в нем ни зависти, ни боязни, что кто-то обойдет его. Это была, конечно, школа Петрова. Александр Сергеевич беззаветно любил медицину, в совершенстве освоил профессию хирурга. Жаль только, что будучи заядлым спортсменом, он отдавал своему увлечению слишком много времени, – докторская диссертация оказалась ненаписанной, и хотя он был прекрасным хирургом, опытным преподавателем, после того как ушел из института Н. Н. Петров, его не оставили заведующим кафедрой. На этот пост был избран другой специалист, имевший докторскую степень.

При всех моих операциях Александр Сергеевич ассистировал первым ассистентом, а вторым, как уже упоминалось выше, был Ираклий Сергеевич Мгалоблишвили, ныне профессор. В клинику он пришел с опытом, полученным на фронте. Энергичный человек, способный хирург, Ираклий Сергеевич защитил кандидатскую диссертацию и вскоре перешел в Военно-медицинскую академию, стал там доктором наук и занял кафедру хирургии в одном из периферийных вузов...

Благополучно законченная операция у Оли Виноградовой была для нас не случайной победой. Ей предшествовала двухлетняя кропотливая подготовительная работа. Операция положила начало более быстрому развитию этого раздела хирургии в клинике Н. Н. Петрова. Вслед за ней мы провели несколько подобных – по удалению долей легкого, затем по удалению всего легкого при абсцессе...

Интерес к работе клиники был необычен. Наши заявки на демонстрации и доклады в Хирургическом и Терапевтическом обществах принимались и включались в повестку дня сразу. Мы почувствовали даже то, что, вероятно, постоянно чувствуют удачливые люди искусства, – настойчивое внимание к себе со стороны других, ощущение внезапно пришедшей к тебе известности, чуть ли не славы. Однако, когда серьезно работаешь и конца работы не видно, ты поневоле далек от праздного самолюбования. Были дороги теплота и уважение коллег, основанные на понимании твоих устремлений.

Запомнилось, например, такое. Однажды я услышал, как два хирурга средней квалификации обсуждали мое выступление, и один, не видя, конечно, меня, сказал:

– А толковый этот парень Углов!

– Да, – согласился другой, – и молодой совсем!

Выглядел я тогда действительно молодо: черные волосы, невысокий рост, спортивная фигура. Рядом с Чечулиным и Мгалоблишвили, рост которых был как у хороших баскетболистов, я, конечно, проигрывал – не та солидность. Да еще Н. Н. Петров как-то по-домашнему, сердечно называл меня всегда Федей, а Феде, замечу, было уже за сорок.

Возможно, мой внешний «несолидный вид» внушал определенное недоверие некоторым маститым хирургам, в то время тоже приступавшим к освоению проблем хирургии легких. Лично же я с большим уважением относился к каждому из хирургов, кто работал в этой

области, удовольствием вспоминаю совместное выступление с Петром Андреевичем Куприяновым в Терапевтическом обществе.

Я демонстрировал двух своих первых больных – Веру Игнатьеву и Олю Виноградову. Обе чувствовали себя прекрасно. И все же было у меня некоторое ощущение робости. Еще бы – сам Куприянов, всесоюзная знаменитость, признанный авторитет, и я с ним... Попросил совета у Николая Николаевича. Тот внимательно, как на репетиции, прослушал мое выступление и сказал:

– Вам отводится для демонстрации семь минут, а вы, папенька, разбежались на целых девятнадцать. Вот это сократите и это... Кроме того, рекомендации излишне категоричны, а больных излеченных – всего двое. Хотя эффект разительный, но все же, Федя, – их двое, а не двадцать! Я советую вам никаких рекомендаций обществу не давать, а закончить свое выступление вот такими словами...

И Николай Николаевич привел их мне.

На заседании общества, показав хороший результат операций у больных, раскрыв по клинической картине и по бронхограммам их состояние до операции, я закончил выступление следующим образом:

– Вместо выводов разрешите мне сослаться на слова одного французского философа, о которых мне напомнил мой учитель Николай Николаевич Петров: «Я ничего не предполагаю, я ничего не предлагаю, я только излагаю и прошу вас самих сделать вывод из изложенного».

Под аплодисменты я прошел на свое место, стал слушать доклад П. А. Куприянова. Он продемонстрировал больную, которой – приблизительно в то же время, что и я, – удалил левое легкое. Выводы его доклада совпадали с моими данными. И в дальнейшем наши выступления нередко перекликались, мы как бы дополняли друг друга.

Уже будучи заведующим кафедрой госпитальной хирургии 1-го Ленинградского медицинского института, я в 1951 году демонстрировал больного, у которого удаление пораженного раком легкого было произведено при внутривнутрикардиальной перевязке сосудов. Такая методика демонстрировалась впервые в нашей стране. Не было сомнения в ее прогрессивности: она расширяла технические возможности хирургов, способствовала увеличению операбельности таких больных. Поэтому на заседании общества слышались только одобрительные голоса. Лишь представитель клиники П.

А. Куприянов сдержанно сказал, что они этой методикой не пользовались и что-либо говорить в ее пользу у них нет оснований...

Примерно через год я выступал уже с докладом на эту тему: сообщил о семнадцати операциях при раке легкого с внутривнутрикардиальной перевязкой сосудов. Преимущества этого метода теперь уже доказывались на большом материале. В прениях взял слово Петр Андреевич Куприянов и, ссылаясь на меня, подтвердил надежность внутривнутрикардиальной перевязки сосудов легкого. Закончил он выступление неожиданным сообщением, что этот метод теперь широко применяется в их клинике.

– Мы с вами в одной упряжке идем, – сказал он мне с улыбкой во время перерыва. – А в упряжке должен быть надежный коренник. Так ведь?

* * *

Здоровье – это счастье человека. И нужно было видеть сияющие глаза Оли Виноградовой, слышать ее звонкий смех! Надя говорила мне, что забыла, как улыбается сестра, а теперь... Оля резвилась, как маленькая – бегом, бегом, бегом... На четвертый этаж взбегала по лестнице, не чувствуя одышки, а ведь до операции на второй этаж поднималась с трудом, поддерживаемая нянечкой. Не было границ ее радости.

– Федор Григорьевич, – приметив меня во дворике, кричала она из раскрытого окна, – вы идете и ничего не видите!

– А что я должен увидеть?

– Все, что вокруг вас! – И смеялась.

И я, встряхнувшись, замечал, какой на самом деле хороший денек, небо высокое, чистое, много солнца и мягкой спокойной синевы...

Появились в нашей клинике и другие больные, подобные Оле, гладко прошли операции и у них, они хорошо чувствовали себя в послеоперационный период.

Однако меня не покидало смутное ощущение тревоги: на первых порах нам посчастливилось, но знаем-то мы еще мало!.. Особенно заметно выявилось это, когда в клинику стали поступать больные с хроническими абсцессами. Их тяжелое состояние было серьезным препятствием для операции. У них так резко падало артериальное давление, что приходилось делать долгие перерывы в операции, а порой – просто немедленно прекращать ее, лишь бы снять больного живым со стола! Были случаи с печальным исходом...

Смерть больного всегда тяжело переживается хирургом, и вдвойне тяжелее, если происходит при разработке новых разделов хирургии. Тут – и сам факт смерти человека, который надеялся на тебя и к которому ты привык сам; тут и угроза успешному продолжению начатого тобой дела... Умрет больной во время операции или после нее – места не находишь, терзаешься, упрекаешь себя во всех возможных и невозможных ошибках и упущениях.

Не все способны понять, как сложен, а иногда и драматичен труд хирурга, прокладывающего новое направление в науке. Сколько обвинений и укоров летят ему, если не в лицо, то в спину!

На одной из патологоанатомических конференций мы разбирали причину смерти больного, погибшего во время операции при раке пищевода. Вспоминая этот случай сейчас, четверть века спустя, невольно думаешь о том героизме, который проявили и больной и хирург: тяжелейшая операция проводилась под местным обезболиванием. Во время операции, при прохождении через левую плевру, пищевод можно было выделить лишь при условии, что опухоль не проросла правую плевру. Но знать заранее об этом хирург не мог. У больного правая плевра как раз оказалась проросшей опухолью и при выделении порвалась... Можно себе представить, что в эти минуты переживал хирург!

На конференции один из медиков-администраторов, уяснив вроде бы объективную картину случившегося, все же грозно изрек:

– Не надо было рвать правую плевру!

Сказано было так, что хирург чуть ли не обвинялся в том, что сознательно погубил человека. Как будто бы при подобной операции имелся другой выход!

Ужасно слушать несправедливые упреки, еще ужаснее оправдываться под их тяжестью... Мы старались на подобные мероприятия приглашать Николая Николаевича, Человек с непререкаемым авторитетом, он одним своим присутствием вносил успокоение в ряды ретивых администраторов.

О, эти печальной памяти так называемые лечебно-контрольные и патологоанатомические конференции былых лет. В какие судилища они превращались с их непременным стремлением во что бы то ни стало найти виновных! А коли виновного изыскивали – незамедлительно следовала административная санкция. И чтобы избежать неприятностей, хирурги всячески старались доказать, что всему виной одни лишь объективные причины... Это не шло на пользу делу: ошибки замазывались, когда на них нужно было учиться:

Николай Николаевич Петров постоянно внушал нам: при несчастном случае мужественно ищите, в чем ошиблись, не бойтесь этого! Поняв причину ошибки, вы не повторите ее в будущем, предостережете других...

– Николай Николаевич, вы считаетесь у нас в стране непревзойденным диагностом. Были ли у вас диагностические ошибки? – спрашивали мы у него.

– Были, – отвечал он. – Такие, что оказывались роковыми для больных. Неприятно вспоминать, но куда не денешься...

– У нас при разборе, вы знаете, врачей за ошибки сурово наказывают. Правильно ли это?

– Нужно наказывать за халатность, небрежность, – говорил Николай Николаевич. – А за ошибку, особенно при постановке диагноза, возьмется наказать лишь тот, кто сам у постели больного не решал сложных вопросов... Ошибка поиска – не ошибка от невежества и зазнайства. Это нужно различать.

– А мы мучились: что же делать с тяжелыми больными, у которых хронические абсцессы? Одна смерть, другая... Из-за этого может быть приостановлена вся наша так успешно начатая работа.

Поздним вечером, отдыхая, мы сидели в ординаторской.

– Не брать на стол тех, для кого операция – непосильная нагрузка, – горячился Ираклий Сергеевич.

– Отказывать несчастным в помощи? – возразил Александр Сергеевич. – У меня язык не повернется сказать больному: прощайте, мы вас выписываем, ничем помочь не в силах!..

– Друзья, – вступил в разговор я, – таких больных нужно готовить к операции, как готовили Веру Игнатьеву. Но положение их более тяжелое – что-то особенное требуется, искать нужно. Пенициллин на многих из них не действует. Так ведь? А что, если начать применять его местно?.. В очаг поражения.

– Это мысль! – живо отозвался Ираклий Сергеевич. – Ведь некоторые хирурги делают так – при маститах...

– Мысль, – задумчиво согласился Александр Сергеевич.

Сейчас может показаться странным: над чем бились! А тогда именно бились. В то время, не так уж и отдаленное от нынешнего, мы еще не умели справляться с угрозой воздушной эмболии, открытого пневмоторакса, кровотечения и некоторых других осложнений.

Взвесив все «за» и «против», мы пришли к единому мнению: поскольку ничто другое не помогает – вводить пенициллин прямо в легкое. Во многих случаях был получен отличный результат. Тяжелые больные, которых длительное время лихорадило, после первых же уколов в легкое чувствовали облегчение, даже выделение мокроты у них исчезало, они легче переносили операцию. Но не все! И вот с теми, кому не помогали внутрилегочные пункции, не знали, что делать. Отпустить из клиники – почти сказать: ты обречен, ты безнадежен... А среди таких – и это сознавалось нами с особой горечью – были дети. Поныне сняты их бледные личики с неизъяснимой печалью, рано уставшие глаза...

Запомнилась шестилетняя Валя. Ее мать, психически ненормальная, привязала девочку к кровати и открыла форточку на всю ночь, – дело было зимой. Валя заболела тяжелой формой воспаления легких; после у нее было не менее тяжелое обострение. В клинику ее привезли чужие сердобольные люди. Нас, повидавших немало человеческих страданий, потрясла судьба этой девочки. Состояние ее было ужасным: левое легкое в гнойниках, постоянно повышенная температура, огромные выделения мокроты... В довершение всего в моче появился белок – первый признак начинающегося амилоидоза почек, а это – начало конца.

Я сам делал Вале уколы внутрь легкого – при тщательной местной анестезии, чтобы как можно сильнее пригасить болевые ощущения. Валя, поняв после первых же уколов, что от них ей становится лучше, шла в перевязочную без сопротивления, вела себя со взрослой рассудительностью...

– Немножко больно, зато потом будет хорошо – да?

Мы кивали в ответ: да, Валя, да, милая...

Меня часто не только что восхищало, буквально поражало сознательное отношение детей к своей болезни, понимание того, что все медицинские манипуляции, нередко болезненные, которые мучительно переносили даже взрослые, – необходимы, без них не обойдешься. В детях, которых коснулось горе, много мужества и терпения.

Пенициллин, вводимый Вале в очаг поражения, не помогал, интоксикация держалась. Девочка таяла на глазах.

Я обратился к учителю:

– Николай Николаевич, а если девочке ввести однопроцентный хлористый кальций, как вы советовали делать при сепсисе?

Он задумался, ответил, размышляя:

– Что ж, это, вполне вероятно, даст результат... Ведь у таких больных нарушена проницаемость клеточной мембраны, особенно нервных клеток, нарушена и их функция. Попробуйте! Может быть, у подобных больных происходят те же процессы, что и при общем заражении крови... Тут, папенька, поле деятельности...

И мы решили применить Вале внутрилегочные уколы пенициллина с внутривенным введением больших доз однопроцентного хлористого кальция. Девочка перенесла это вливание хорошо (а влили относительно большую дозу – сто миллилитров), но температура держалась. Тогда на следующий день – после обязательного предварительного контроля под лучами рентгена – мы ввели Вале внутрилёгочно раствор пенициллина на новокаиине.

К великой нашей радости, температура упала!

Продолжая вводить кальций и одновременно делать внутрилегочные уколы, мы скоро добились значительного укрепления организма Вали, и операция по удалению у нее пораженного левого легкого прошла без осложнений. У постели девочки с охотой дежурили и врачи, и медицинские сестры. Через месяц уже можно было выписать нашу общую любимицу из клиники. Но никто за Вале не приходил, и мы задержали ее у себя еще на полтора месяца, – пока длилось оформление в детский дом. Испившая в детские годы горькую чашу до дна, Валя отвечала на нашу заботу любовью и лаской, и, право, до сих пор слышится мне ее трогательный голосок...

Нужно ли объяснять, что с этих пор у нас в клинике метод борьбы с гнойной интоксикацией с помощью хлористого кальция и внутрилёгочных пункций получил твердую прописку. А это – само собой, после опубликования в хирургической печати наших данных – привлекло внимание других медицинских коллективов. К нам приезжали, чтобы лично ознакомиться с методикой подобной подготовки больных к операции.

Правда, кое-кто из хирургов считал, что мы напрасно тратим время на такую подготовку, она не обязательна, когда врач в совершенстве владеет своей профессией... Такого мнения, например, придерживался Н. М. Амосов – хирург талантливый, однако человек несколько увлекающийся. Он писал, что безо всякой подготовки получает благоприятные результаты – гнойная интоксикация ему не помеха. Однако спустя некоторое время Н. М. Амосов признал, что все же в некоторых случаях он тоже находит нужным готовить больных к операции. И это признание только выгодно оттенило незаурядность характера и преданность науке блестящего хирурга и большого ученого...

Прошло всего каких-нибудь два-три года, а клиника Н. Н. Петрова стала известной в стране, как один из ведущих центров торокальной хирургии. Наряду с лечением гнойных заболеваний легких, мы уже принимали и больных раком легких. Николай Николаевич благословил нас на разработку очередной совершенно новой проблемы – хирургии внутригрудного отдела пищевода, и вскоре тут тоже были получены первые успехи. Обо всем этом и о другом, о нашем дружном коллективе энтузиастов, в котором каждый работал с единственной целью – спасти больного, еще будет рассказано в других главах. Мне же те годы особенно дороги потому, что именно тогда я становился на путь большой хирургии.

А начало пути, полного труда и дерзаний, проглядывается в далеких днях детства. Мои приятели по улице и школе хотели быть моряками и путешественниками, машинистами на не виденной нами железной дороге и знаменитыми сыщиками, с понятной мальчишеской легкостью меняя свои привязанности, наделяя себя новой мечтой... А я не помню, когда бы не хотел стать хирургом, твердо знал и стремился к одному – буду врачом, и именно хирургом. Так что начало всему – от порога отчего дома...

Глава II

Мы жили в сибирском городке Киренске. На триста – пятьсот верст вокруг не было другого места, где бы еще имелась больница. И редкую неделю в нашем гостеприимном доме не останавливались на ночлег приехавшие издалека знакомые. «К доктору, – говорили они, – дал бы он облегченье!..»

Уважительно произносилось имя киренского хирурга Светлова. Руки у него, как я сейчас понимаю, были искусные, душа чистая, сострадательная к чужой беде. Он был из тех благородных русских натур, которые на заре нового двадцатого века связали свою жизнь со служением простому народу, стремились в глухих, медвежьих углах нести людям знания, культуру, собственным примером учили добру и бескорыстию.

Какими счастливыми, буквально заново воскресшими уезжали в свои деревни после светловских операций наши гости! А однажды произошло такое, что вовсе укрепило мое желание – буду, как Светлов!

...В деревне подрались парни. Местные задумали проучить пришлых, чтоб те не ходили к ним на вечеринки, не смущали девушек: пусть, мол, со своими красавицами веселятся! Обычная потасовка переросла в кровавое побоище. Среди пострадавших оказались мой двоюродный брат Петя и его дружок Василий. Брату нанесли сквозное ранение правого предплечья с перерезом двух нервов. Василия ударили ножом в шею, был, по-видимому, поражен крупный сосуд. Парень от потери крови несколько раз терял сознание.

В Киренск раненых привезли в тяжелом состоянии. Помню запрокинутое посиневшее лицо Василия, уложенного в телеге, его безжизненно свесившуюся руку. Петя запекшимися губами просил пить. Я, переживая, ходил под окнами больницы, было тревожно видеть через стекла мелькание белых халатов, но я все же верил: доктор Светлов поставит парней на ноги.

И после было радостно сознавать, что мои надежды оправдались. Я словно бы в самого себя поверил: можно научиться спасать людей!

Как-то вечером всей семьей мы читали вслух «Ущелье дьявола» Дюма. Там есть эпизод: внезапно заболела маленькая девочка, перепуганная мать бежит к врачу, но тот соглашается спасти крошку лишь при одном, унижительном для женщины условии... Слезы навертывались на мои глаза, я ненавидал этого бессердечного лекаря, был готов в те минуты мчаться туда, к бедной девочке, чтоб спасти ее.

Такие вечерние чтения были обыкновением в нашем доме. Сколько хорошего давали они нам, детям! С тех пор, например, наизусть помню поразившую тогда мое воображение поэму Пушкина «Братья-разбойники»... Заключение в книгах великая сила, словно живительная кровь, переливалась в наши сердца.

Обычно в сумерки, как только отец, вернувшись с работы, отдохнет и закончит неотложные дела по хозяйству, а мы приготовим уроки, садились вокруг стола у зажженной лампы и допоздна читали вслух. Начинал отец, читал он с большим чувством. Особенно любили мы исторические романы. Они давали нам понимание того, как велика наша страна,

как богата она интересными, даровитыми людьми, как нуждается в полезных делах! Слово Россия приобретало для нас конкретный смысл, было таким же близким и родным, как другие понятия – дом, мама, папа, товарищи...

Когда в книге попадались трогательные сцены, у отца заметно дрожал голос, а иногда он даже прерывал чтение, чтобы успокоиться. Человек трудной судьбы, испытавший унижения, несправедливость, он был чуток к горю других. А всегда так: страдания других лучше понимает тот, кто сам страдал. Вспоминаются строчки Ивана Никитина из его «Бурлаков»: «Эх, приятель! И ты, видно, горя видал, коли плачешь от песни веселой!..»

Нередко в такие вечера мы слышали от родителей рассказы о минувших днях – они как бы служили живой иллюстрацией к узанному из книг, дополняли их, заставляли нас задумываться над суровой правдой жизни. И снова хочется сказать, с нежной благодарностью вспоминая отца, маму: прекрасной школой воспитания были домашние вечерние чтения-беседы!

Вот отец, отложив в сторону книгу, задумавшись над судьбой литературного героя, говорит:

– Да, и ему пришлось хлебнуть мурцовки...

– А что такое мурцовка? – спрашиваем мы.

– Арестантская еда из крошек хлеба и сырой воды, – поясняет отец. – Мы на этапе только этим и питались...

– А что такое этап?

Отец отвечает строчками из Некрасова:

Под караулом казаков с оружием в руках
Этапом водим мы воров и каторжных в цепях...

Он замолкает, тень нелегких воспоминаний набегаёт на его лицо.

– Папа, – спрашиваю я, – а как у тебя все это было?

И детское воображение уже рисует картину: под низким хмурым небом по чавкающей осенней дороге бредут закованные в цепи арестанты, их мочит дождь, ошметья грязи из-под копыт казачьих коней летят им в лица, и нет конца этому печальному пути, и вот уже кто-то из несчастных со стоном валится на холодную землю...

Семнадцатилетним юношей несколько месяцев брел по этапу мой отец.

Родился он в 1870 году, в семье потомственного пролетария, рабочего нижнесалдинских заводов (Нижне-Тагильский округ Пермской губернии) Гаврилы Тимофеевича Углова. Заработок у Гаврилы Тимофеевича был ничтожный, а семья большая, и старшие дети – дочери, которых на завод не устроишь... Поэтому сын Гриша на одиннадцатом году пришел в заводской цех.

Четыре класса приходского училища (образование, которым в ту пору мог похвастаться редкий из рабочих), природный ум, бойкий характер способствовали тому, что мальчик в

четырнадцать лет уже был умелым слесарем и токарем по металлу. А это определило к нему и отношение взрослых товарищей – вместе с ними он участвовал в тайных собраниях, где под руководством исключенного из университета за революционную деятельность студента читалась запрещенная литература, обсуждались меры борьбы с предпринимателями...

Так продолжалось до тех пор, пока в рабочей среде не оказался провокатор. И самое обидное, что предал всех человек, которого и подозревать-то не могли, – из пролетарской семьи. Он сразу же получил повышение по работе, открыто похвалялся своими «успехами». А у Григория Углова, у всех других провели обыски и тут же уволили с завода с «волчьим билетом».

Григорий Углов, темпераментный по натуре человек, забияка, участник слободских драк, вместе с другими подкараулил провокатора, и они хорошенько проучили его. И хотя драки в слободе – явление привычное, дня без них не обходилось, в этом случае полиция вмешалась живо. Делу придали политическую окраску, состоялся скорый суд: ребят осудили на вечное поселение в Восточную Сибирь. Вначале острог, а потом и этап – под конвоем, в одной связке с уголовниками, убийцами, клейменными разбойниками...

Здесь, в Сибири, отцу было разрешено жить в районе между Качугом и Витимом. Долго он скитался в поисках работы, кормился тем, что чинил по деревням посуду, нанимался пасти лошадей, помогал местным жителям в уборке урожая, а в длинные зимние вечера, когда на улице трещал жестокий мороз, становился даже сказочником – за умение живо, увлекательно и весело рассказывать получал кусок хлеба и возможность переночевать в тепле. Тут, конечно, выручала давняя привязанность к книгам, в рассказах был удивительный сплав когда-то вычитанного и приукрашенного собственной буйной фантазией...

Скитания продолжались до тех пор, пока не подвернулась удача: взяли масленщиком на пароход «Каролонец». Пароход, принадлежащий богатому судовладельцу, курсировал по широкой, неоглядной Лене. Теперь были постоянная работа и твердый заработок. А главное, пароход – это машина, механизм, это железо, то, по чему скучали руки отца – заводского человека. Летом – в плавании, а зимой, когда «Каролонец» стоял в затоне, Григорий Гаврилович Углов удивлял всех в мастерской умением исполнить любую, самую тонкую слесарную и токарную работу.

Осенью 1889 года «Каролонец» с большим грузом вышел из Витима. Внезапно начались ранние жестокие морозы, по реке навстречу плыла шуга, плиты колес, ударяясь о льдины, ломались, приходилось их чинить в ледяной воде. Ход был медленный, а всем – капитану, механику, матросам – хотелось дойти до Киренска, где жили родные. Но усилившиеся холода остановили реку, заковали ее в ледовый панцирь – помятый, ободранный пароход с большим трудом пробился к пристани Бабошино. До Киренска оставалось пятьдесят пять непреодолимых километров.

Пришлось зимовать в Бабошино. «Каролонец» поставили на прочные балки, ремонтировали, заменяли пришедшие в негодность части, красили... Хотя и долгим был рабочий день, но молодость брала свое, – при первой возможности, особенно по воскресеньям, Григорий Углов с друзьями уходил на гулянье в соседнюю деревню Чугуево.

Вот тут-то я и должен перейти к рассказу о своей матери, сыновнюю любовь и большое уважение к которой не стерли годы.

А рассказ о матери необходимо начать с далеких дней, на событиях которых – ответ самой русской истории...

* * *

По реке Лене, дивясь ее простору и дремучей красоте таежных берегов, плыли на лодке три плечистых синеглазых и русоволосых брата Бабошиных: старший – Афанасий, средний – Иван, младший – Егор. В поисках лучшей крестьянской доли добрались они сюда из полунищей степной России... Во время ночных стоянок дикие звери непугано ходили вокруг их костра, а братья, еще боясь поверить в свое счастье, подбадривали друг дружку: тут не пропадем, тут жить можно!

Плыли неспешно, приглядываясь, где бы поселиться навсегда, чтобы не только для охоты раздолье нашлось, чтоб хлеб сеять можно было.

Осенью добрались до Киренска. Тут, в четырех верстах, закладывалась деревня Хабарово. Бабошины, мастера на все руки, решив подкопить деньжат, нанялись рубить, ставить и отделывать избы, и зазимовали здесь. Когда прошумел ледоход, собрались в путь-дорогу, но средний, Иван, заупрямился: крепко держала парня местная красавица. Старший и младший, ругая и жалея Ивана, отплыли вдвоем...

Скоро ль, долго ль плыли, но однажды достигли такого места, которое очень им приглянулось. Небольшая быстрая речушка впадала в Лену, рядом голубело озерцо, где воду копить можно, а кругом нетронутый лес. Братья видели: мельницу поставить – лучше не найдешь места.

По речке жили тунгусы, промышлявшие охотой. Бабошины пошли к ним с поклоном – проситься в соседи.

В большом чуме собрались старики – сидели на оленьих шкурах, важно курили трубки с длинными тонкими мундштуками, смотрели на двух рослых молодых русских мужиков.

– Однако, зачем пришли сюда? Для чего просили собрать старейшин?

– В соседи желаем.

– Однако, что делать будете? Охотой не проживете, надо в тайгу далеко ходить, вы не умеете. А земли – хлеб сеять – нет. Мы зерно охотой зарабатываем, меняем... а вы что?

– А мы хлеб будем мельницей зарабатывать. Построим водяную мельницу, молоть станем – у хлеба без хлеба не останемся.

– Это какая такая мельница?

Тунгусы непонимающе переглядывались, братья – как могли, словами и жестами, – объяснили. Тунгусы наконец поняли, заулыбались, возбужденно заговорили на своем языке. Старшина сказал:

– Польза от вас, однако, есть. Оставайтесь. Будем давать наш хлеб молоть. Руками зерно мелем-мелем, долго, однако! На охоту ходить некогда...

И вскоре потянулись подводы с мешками к Бабошиным, или – как говорили местные – на Бабошиху. Так назвали мельницу, речку тоже стали звать Бабошихой, а когда по Лене пошли пароходы, другого имени для пристани не искали: Бабошино.

Так мои прапрадеды (по материнской линии) закрепили в Сибири свою фамилию.

А деда моего – уже внука старшего из Бабошиных, Афанасия, – звали Николаем Петровичем. Он рано остался вдовцом, с двумя малолетними детьми на руках – трехлетним Ефимом и двухлетней Настасьей, моей матерью.

До конца дней своих горевал дед по жене – Варваре Семеновне, и вся любовь тоскующей души была направлена на детей. Из-за них он не женился снова, попросил лишь своего брата Осипа, чтобы днем, когда занят работой, Ефим и Настенька находились бы под присмотром в братниной семье. Несмотря на уговоры Осипа и его жены, он каждый вечер, как бы поздно ни возвращался с поля или из леса, уносил на руках спящих детей в родной дом, говоря, что без них ему света нет.

Хотя и не знал Николай Петрович Бабошин грамоты, но человек был любознательный, впечатлительный – хотел он видеть дальше того, что окружало его, и поэтому в доме деда часто находили приют ссыльные, особенно политические. Совестьный, он ни в каких делах не шел на обман, на хитрость, и, как ни тянулся изо всех сил, сколько ни работал – бедность не отступала. Забегая вперед, скажу, что «по наследству» перешла она и к сыну, Ефиму. Рано возмужавший в тяжелом крестьянском труде, что только ни делал он, чтобы выбиться из нищеты, даже уходил золото мыть на Бодайбинские прииски, но призрачная мечта о сытой жизни так и оставалась мечтой...

А Настенька, на которую отец молиться был готов, как две капли воды походила на свою покойную матушку. Уже с двенадцати лет девочка самостоятельно вела весь дом. Отец с Ефимом уходили корчевать пни, чтобы хоть добавочный кусок пашни отвоевать у тайги, а проворные руки Настеньки то на огороде мелькают, то в хлеву у коровы, то обед она стряпает, пол моет, белье штопает... Остановливавшиеся в доме ссыльные удивлялись: такая маленькая, ребенок еще, и столько у нее забот, и поиграть-то с ровесниками некогда, жалко девочку! Некоторые из них, находившие тут приют и ласковое слово в трудную для себя пору, надолго задерживались, помогая Настеньке, как могли.

Впоследствии мать рассказывала нам про одного из таких – про каторжника Каллистрата.

Двадцать пять лет провел Каллистрат в сыром подземном руднике, прикованный цепью к тачке. Когда пришло желанное освобождение, не мог он уже выпрямиться в полный рост, не разгибались у него и пальцы на руках. Зайдя в ненастный день обогреться, он так и остался в доме Бабошиных навсегда, стал в семье своим человеком. И мать, вспоминая его, говорила: «Каторжником Каллистратушку называли, а добрее человека трудно было сыскать!» Несмотря на искалеченную жизнь, на болезни, он сохранил ясность души, способность к доброй шутке... Зайдут к повзрослевшей Насте подруги или знакомые ребята, а Каллистрат на глазах у них вдруг вытаскивает из Настиной постели сучковатое полено, говорит: «Капризная царевна заснуть не могла, когда ей под перину горошинку положили, а наша Настенька сегодня на бревне распрекрасно выспалась!» И заливается при этом веселым добродушным смехом, и всем другим весело...

Когда я слушал рассказы матери и отца про людей, подобных Каллистрату, зарождалось во мне желание пристальнее взглянуть в своих земляков, с невольным восхищением думал я о сильном и терпеливом русском человеке, достоинство и доброту которого не могут вытравить никакие невзгоды, самые тяжкие испытания.

С тех пор помнится мне одно стихотворение, неизвестно кем написанное, сложенное, возможно, в народной среде, – о характере истинного сибиряка. При всей непритязательности, внешней простоте этих строк, в них, по-моему, очень верно подмечены и как бы сконцентрированы те душевные и деловые качества, что отличают русского человека:

Смелость, сметливость, повадка
Ездить по стране,
Чистоплотность, ум, приглядка
К новой стороне.
Горделивость, мысли здравость,
Юмор, жажда прав,
Добродушная лукавость,
Развеселый нрав.
Политичность дипломата
В речи при чужом.
Откровенность, вольность брата
С истым земляком.
Страсть горячая к природе
От степей до гор,
Дух, стремящийся к свободе,
Любящий простор,
Поиск дела, жажда света.
Знать: да что? да как?
Стойкость, сердце золотое!
Вот наш сибиряк!

И это – умение с достоинством встретить и вынести любую напасть, желание помочь другим, охота к труду – были в нашей матери. Однако я, кажется, тороплюсь – нужно вернуться к тем дням, когда в деревне, под отцовской крышей, жила работающая, умная девушка Настенька. Впрочем, уже тогда, в семнадцать своих лет, за прилежность, скромность, за то, что с детского сиротского возраста, не жалуясь, а с улыбкой, самостоятельно вела она хозяйство, деревенские величали ее почтительно: Настасьей Николаевной. Даже на молодежных вечеринках парни обращались к ней по имени-отчеству.

Уже взрослым услышал я в деревне рассказ. Может, и ничего особенного в нем нет, так себе, крошечный эпизод, но в эпизоде этом, в том, что через многие годы остался он на памяти чугуевских жителей, ощущалась их уважительность, доброжелательность к Настасье Николаевне.

А дело было так. Чугуевских ребят и девчат пригласили на гулянье в село Горбово – по соседству, за пять верст. В разгар вечеринки вышло какое-то недоразумение, и серьезное: горбовские парни, вспылив, выскочили из избы на улицу, стали выламывать колья, грозились ножи в ход пустить. Гости же заперли двери на засовы, притаились: в чужой деревне – не в своей!

Выманивали, выманивали горбовские чугуевцев, но те отмалчивались. И вдруг в окно, разбив стекла, влетел конец огромного бревна, со свистом стал ходить по избе – от стены к стене. Ребята разбежались – кто в сени, кто на кухню. Девчата с визгом полезли под стол, под лавки, забились на печь. И только Настенька, выбрав момент, села на разгуливающее, сокрушающее домашнюю утварь бревно, оправила юбку и запела! Бревно вздрогнуло, покачнулось и замерло. За окном грозно спросили: «Это кто сел на бревно?» – «Я», – ответила

Настенька и, обращаясь к главарю горбовских парней, шутливо-укоризненно сказала:

– Это что ж, Василий Васильич, вы такую игру выдумали? От нее не весело, а один шум. И скучно нам: пригласили, а сами на улице развлекаетесь, гости-то без хозяев – это правильно?

Разбушевавшийся Василий, польщенный вниманием Настеньки, ответил ей вежливо, с готовностью услужить:

– Мы к вам, Настасья Николаевна, завсегда по-хорошему!..

А Настенька в этот момент шепнула своим, чтоб двери открыли, и бояться не нужно, а если не пустить Василия с дружками, они избу по бревнышку раскидают... Василий вошел, сняв шапку, поклонился и, чтобы показать, какие они тут, в Горбово, щедрые, гостеприимные, приказал своим приятелям:

– А ну на стол – конфеты, вино, орехи! Настенька подругам шепнула: «Пойте!» А сама Василия за руку в хоровод ведет, говорит ему:

– Вино до следующего раза обождет. Попляшем, попоем да восвосяси... С утра молотить, и кони голодные стоят, на них утром работать. Ждем вас у себя, Василий Васильич!

Тот чубатую голову склонил:

– Мы, Настасья Николаевна, с полным нашим удовольствием!..

Уехали из Горбово с миром, а в поле дали волю смеху: покаталась Настенька на бревне! И если б не это катанье, погуляли б колья по спинам чугуевских ребят, и кого-нибудь домой изувеченным повезли...

Вот в ту пору на одной из вечеринок заметил и полюбил Настеньку с первой же встречи Григорий Углов, гармонист, любитель помериться силой в драке, но и – знали все – мастер «золотые руки», умеющий, как никто другой, работать. Лихо носил он матросскую фуражку, ходил форсисто, дерзко и насмешливо поглядывал на других. Шел ему девятнадцатый год.

Зачастил Григорий в Чугуево! Настеньке тоже по сердцу был этот парень – белолицый, смелый, и лишь не нравилось ей, что охотлив он до пьяных гулянок, дебоширит, уж очень настойчиво, не стеснясь никого, преследует ее, в дом повадился ходить, с Ефимом для этого дружбу свел...

Заслал Григорий, как обычай требовал, сватов, но не тут-то было. Сама Настенька, покоренная преданной любовью Гриши, уже соглашалась на замужество, но отец со сватами даже разговаривать не стал, показал им от ворот поворот. Не мыслил он свою жизнь без дочери, не мог представить даже, что уйдет она из дома, а тут к тому ж и домогается ее

пришлый, чужой человек, который, хоть и мастеровой, но от земли далек, катается на пароходе вниз и вверх по реке, и неизвестно еще, куда он увезет Настеньку, будет ли она с ним счастлива... Нет уж!

Три года подряд – осенью, когда «Каролонец» становился на зимовку, и по весне, когда уходили в плаванье, упрямо засылал Григорий Углов сватов в дом Бабошиных. Лицом почернел, про веселые песни забыл и не мог отступиться. Однажды, отчаявшись, пришел к закадычным друзьям Николая Петровича – Матвеем Лаврентьевичу и Пелагее Ивановне, сказал, что на колени перед ними упадет, только пусть помогут, сосватают Настеньку, а то уж и жизнь не мила... Но Николай Петрович и тут остался непреклонным, да еще строго выговорил своим друзьям, чтоб не сердили его, ничего с этой затеей не получится.

Однако Пелагея Ивановна, задобренная гостинцами Григория, женским чутьем понимавшая, что при такой пылкой любви дело нужно добром кончать, снова уговорила Матвея Лаврентьевича пойти к Бабошиным. Но Николай Петрович, когда они вошли в дом, на приветствие не ответил, полез на печь, лег там, отвернувшись к стене. Тогда Пелагея Ивановна тоже полезла на печь, повела с хозяином разговор о том, о сем – про цены на хлеб, про диких кабанов, что повадились из леса на огород бегать, урон от них большой, про погоду еще... Николай Петрович тоже понемногу разговорился. А сваха долго искала что-то у себя в карманах, нашла и протянула ему: «Поешь!» – и сама себе в рот положила. Николай Петрович пожевал, спросил: «Ты чего это, кума, чесноком меня кормишь?» – «Иль не вкусно? – ответила Пелагея Ивановна. – Хлебушком нужно заесть. Пойдем к столу». Так спустились с печи.

А за столом, продолжая разговор, Пелагея Ивановна неожиданно сказала: «Дай-ка руку, кум!» Николай Петрович, ничего не подозревая, протянул руку, Матвей Лаврентьевич быстро принял ее, а проворная сваха со словами: «Господи благослови!» – тут же разняла их руки. Николай Петрович на божницу взглянул, а там восковые свечи тихо теплятся. Выходит, ударили по рукам, у него взяли согласие на замужество дочери. «Настасья!» – закричал Николай Петрович таким голосом, что всем жутко стало, ли зарыдал безутешно, уронив голову на стол...

* * *

Какие слова нужно найти, чтобы написать о материнской мудрости и материнской любви? Написать вообще о матери и, что самое трудное, о своей матери, которой обязан всем.

Передо мной – пожелтевшие странички писем былых лет. Вот неровные, торопливо бегущие строчки, выведенные рукой моей двоюродной сестры Ольги, дочери Ефима Николаевича. Женщина в годах, она возвращается памятью в незабываемые дни детства, и главное лицо в ее воспоминаниях – тетя Настасья, моя мать.

«Меня поражала всегда тишина в доме у вас, – рассказывает Ольга. – Никто никогда ни на кого не кричал, никто не плакал, не жаловался. Все шло, как хорошо заведенные часы: тихо, спокойно. Все работали по силе своих возможностей. У старших детей – большие работы, у младших – малые. Если сказали – вычистить двор, его сейчас же чистят, не оставят на потом, никто не убежит к соседям играть. Мои родители нередко посылали меня к куме Настасье, как говорила мама, на исправление поведения. Потом она спрашивала у тети Настасьи: «Ну, как моя дочь себя вела?» А тетя Настасья всегда хвалила меня и удивлялась, почему я непослушная дома. Скажет, бывало, маме: «Ты с ней будь ласковой, она и станет послушна». Я называю тетю Настасью великой матерью.

Сколько лет прошло, а помнится такая картина. Вы тогда жили у тети Нилы, была осень или лето, и мы с братом Колей ночевали вместе с вами. Мы на полу, вы на кровати, а у кровати висит зыбка. Я проснулась от тихого разговора. Тетя Настасья кормила ребенка. Потом она подошла к каждому, поцеловала меня, думая, что я сплю, кому подушку поправила, кому одеяло – ко всем прикоснулась, всех приласкала...»

Сколько волнующих воспоминаний вызывают у меня строчки этого письма! Ведь она, наша мама, совсем не ходила в школу, была неграмотной, но, обладая прекрасной памятью, легко запоминала содержание книг, что читались в доме вслух, неплохо знала историю русского народа, помнила даты важных событий, имена и дела выдающихся людей. Ее суждения были просты, человечны, поражали глубиной обобщений и своей безошибочностью. Особенно близко к сердцу принимала она судьбы своих односельчанок, в разговорах всегда защищала женщин и нам говорила: «Женская доля тяжелая, с положением мужчины не сравнить. Женщина, кроме большой работы, несет на себе заботу о семье, о муже, часто не слыша доброго слова. А даст она волю сердцу – тут ей позор и оскорбления ото всех!»

Однажды, бросив вызов деревенским порядкам, одна наша соседка ушла от мужа к поселенцу из ссыльных. По тем временам это был героический поступок. Вчерашние подруги плевали ей вслед, норовили за волосы ухватить, оскорбляли, как могли... И моя сестра Ася – ей было лет пятнадцать – сказала маме: «Аннушка казалась хорошей, а поступила так, что прощения ей нет!» Мама помолчала немного, словно раздумывая, сможет ли дочь понять ее, и ответила: «А ты, Ася, не чужим словам доверяйся, а сама подумай. Ведь Аннушка, живя с Макаром, ходила ежедневно в синяках, кроме ругани, ничего не слышала. Не жизнь у нее была, а мука. Вот она и потянулась к совестливому человеку... Ты, Ася, подумай!» – «Я поняла, мама», – сказала Ася, опустив голову.

Позже, в 1919 году, хороший знакомый моей сестры попал в колчаковскую тюрьму. Мама напекла пирожков, положила еще кое-что из домашней снеди в корзинку и сказала расстроенной Асе: «Отнеси ему». Сестра; конечно, рада, но все ж говорит матери, как советуется: «Удобно ли? Ведь все будут знать: ходила в тюрьму на свидание с молодым человеком. Что скажут люди? Что он сам подумает?» – «Иди, – поторопила мать. – Лишь бы ты сама и я плохо не подумали. А он будет рад, что ты в беде навестила его, не боясь пересудов...»

Мать, с сочувствием и, как я сейчас могу судить, с большим пониманием относилась к политическим ссыльным, сознавая, что все их «преступления» – от стремления облегчить жизнь народа. Таких же взглядов, конечно, придерживался и отец. И нужно подчеркнуть, что политические, в основном незаурядные, интеллигентные люди, оказывали заметное влияние на местное население. Их внешне кажущаяся безобидной, не представляющей вреда существующему порядку просветительская деятельность (беседы по разным вопросам культуры и науки, организация драмкружка, занятия с малограмотными) носила ярко выраженный политический, революционный характер. Многие из них бывали в нашем доме. Я хорошо помню Филимонова, приходившего чаще других. Его разговоры с родителями – о сущности религии, классовом расслоении общества, происхождении человека и разных формах общественного устройства – усваивались нами, детьми, формировали мышление, и, вероятнее всего, такие разговоры, общение с ссыльными помогли нам еще в юном возрасте полностью освободиться от суеверно-церковных представлений, возбудили интерес к серьезным, а не только развлекательным книгам.

Хочется привести тут один случай, не очень значительный, но характерный для обрисовки личности политического ссыльного.

Мама и Ася были в лавке. Сестра примеряла суконную жакетку. Асе в ту пору исполнилось четырнадцать, и ей впервые покупали такую дорогую и красивую вещь. Жакетка так понравилась сестре, что она ни за что не хотела снимать ее. А у мамы при расчете, как на грех, не хватало на эту покупку двух рублей, – по тем временам деньги не маленькие.

Она уговаривала Асю снять эту жакетку, примерить другую – подешевле, но Ася никак не соглашалась, слезы текли у нее по щекам. И вдруг один из покупателей подошел к приказчику и сказал: «Я доплачу недостающие...» Отдал деньги и поспешил уйти из лавки, так, что мама и поблагодарить его не успела. А приказчик заметил: «Это политический-с!..» И кто-то из покупателей добавил: «Они с себя последнюю рубаху снимут, а помогут...» Об этом случае не забывали в нашей семье. И мама, рассказывая о нем, давала нам понять: так должны поступать люди, вот вам пример для подражания...

И если тут уместно слово «везение», скажу: моим братьям, сестрам, мне крупно повезло, что наши родители ясно сознавали высокое значение образования, до нужды доходили, но нас, детей, учили, отдавая этому последние силы и заработанные в поте лица деньги. В редкой крестьянской или рабочей семье в те времена было такое. Считалось обычным: три-четыре зимы в школу побегал, писать, считать мало-мальски научился – чего же больше-то! Обувка дорогая, книжки дорогие, и в хозяйстве дел невпроворот. Девочек вообще в школу не пускали: вначале, подрастая, она по дому помогает, потом и вовсе к мужу уйдет, а чтобы стряпать да детей нянчить, грамота ни к чему... Подобным образом, например, рассуждали в семье наших ближайших родственников – у дяди Ефима, родного брата матери. И я снова сошлюсь на одно из писем Ольги Ефимовны.

«Я расскажу тебе, – писала она с неизбывной горечью, – как, крадучись, стоя за спиной брата Николая, узнала я название четырех букв. Затем он стал учить дальше, и я запоминала другие. А мама, которая категорически запрещала мне смотреть в книгу, видя, что я все-таки учу буквы, стала сажать меня в подпол. Я оттуда хорошо слышала «зубрежку» брата и так, на слух, выучила азбуку. А написания букв, конечно, не знала. Тайно охотилась за букварем, но мама и Николай прятали его. И особенно – отец. Он сказал маме, что, если я, не дай бог, выучусь грамоте, он прибьет ее, а Кольку заберет из школы.

Если мне все ж удавалось на короткое время завладеть букварем, я сломя голову бежала с ним во двор. Во дворе лежала старая таратайка без колес. Я приподнимала ее и ныряла под нее. Сперва ничего не видно – облако пыли окутывало меня, и когда оно рассеивалось, я, скорчившись, жадно разглядывала буквы. К каждой букве была картинка: У («усы»), О («оса»)... Картинки выручали! Дошла, помню, до рисунка, на котором изображен горшок с идущим из него густым паром, и растерялась: что это? – Г («горшок») или П («пар»)?

Писать об этом неприятно, но меня сильно били, а после порки ставили в угол, заставляя при этом держать в руках ухват или веник. Брата выводили к гостям, как будущего кормильца на старости лет, и школьными успехами его хвалились, а меня держали в подполе. Мелькала мысль: бросить все и бежать за тридевять земель из дома. Но я пересиливала себя... Помогли мне ссыльнополитические, жившие в нашей деревне две зимы. В великий пост родители на семь недель уезжали в село, где была церковь, и я в это время бегала к ссыльным, а они помогали мне усваивать грамоту...»

Даже сейчас, по прошествии длительного времени, это правдивое, выстраданное повествование о судьбе крестьянского ребенка в дореволюционной России оставляет

чувство щемящей тоски и боли. Перечитывая письмо Ольги, я мысленно кладу его в томик Чехова, раскрытого на страницах известного всем рассказа про Ваньку Жукова...

К слову сказать, Ольга Ефимовна уже при Советской власти получила неплохое образование. Стала зубным врачом, а кроме того, в ней сказалась и способность к литературе. Она опубликовала несколько сборников народных сказок.

* * *

Хоть обещал когда-то Григорий Углов любимой золотые горы – жизнь определяла по своему. Не помню своих родителей в праздном отдыхе. Главное, что осталось от раннего детства – это дороги, дороги...

Летом, в навигацию, пока отец ходил на пароходе, мы жили в деревне у двоюродной сестры матери, Неонилы Осиповны. Поздней осенью мать обряжала нас в дальний путь, и мы всем выводком отправлялись к месту стоянки парохода. А зимовки каждый год были в разных местах – в Усть-Куте, Витиме, на речке Маме, в низовьях Лены, где-то близ Олекмы. Такой была жизнь семьи долгое время – с 1890 по 1915 год, пока отец не скопил денег на покупку домика в Киренске.

Нас было шестеро: три брата и три сестры. У матери, терпеливо следовавшей за отцом к очередному временному месту жительства, всегда был на руках малыш. А надо только представить осенние дороги тех лет, чтобы понять те испытания и лишения, которые ложились на плечи путешественников, особенно из бедной семьи.

У нас еще имелось преимущество: отец был водником, и мы, хоть с трудом, но все же могли попасть на пароход, проходящий мимо. Но для этого днями ждали на берегу, по-цыгански сидя на вещах, боясь далеко отлучиться.

Как сейчас вижу холодную, свинцового отлива круговерть речной воды, с неба сыплется снежная крупа, и вдруг – чей-то взволнованный голос: «Пароход иде-е-ет!» Мы со своим скарбом грузимся в большую лодку, выгребая на фарватер реки. Пароход, опасно подбрасывая на волнах нашу лодку, быстро проплывает мимо, и мама жестами тщетно упрашивает капитана прихватить нас с собой... Озябшие, подавленные возвращаемся на опостылевший берег, не ведая, сколько дней и ночей ждать следующего судна. А где-то переживая, напрасно встречает пароходы отец...

Нередко, прождав несколько томительных дней на берегу, мы возвращались в деревню ни с чем – ни один из пароходов нас не взял, а больше уже не пойдут, река стала... Теперь нужно ждать, пока установится санный путь: поедем на лошадях. Мама вздыхает – дорого, и путешествие трудное, долгое, детей можно застудить, – с нашими морозами да метелями шутки плохи. Но мне да и братьям с сестренками интересно. Сколько деревень проедем, сколько ночлегов впереди, и всюду разные, похожие и непохожие люди – будет чему радоваться и удивляться!

Из-за частых переездов поначалу в школу я не ходил: занимался с братом и сестрой дома. И лишь когда семья осталась зимовать в Алексеевском затоне, приняли меня сразу во второй класс приходской школы деревни Алексеевки, это в четырех верстах от затона. Утром – мороз ли, пурга ли – мы, затонские, бежали учиться, а вечером, в сумерках, торопились обратно. Стужа стягивала лицо, через одежду добиралась до тела. Только бы не сбиться с дороги, не заплутать! Знали мы, как часто замерзают в наших местах

заблудившиеся путники... Ласковыми и родными казались притягивающие к себе огоньки пяти затонских изб. Чуть поодаль от них стояли закопченные мастерские.

В самом лучшем доме жил капитан парохода по фамилии Мая, в семье у него было девять девочек и один мальчик. Другой дом занимал помощник капитана. Третий – машинист. В четвертом же половина (две комнаты) была отведена отцу – он тогда служил помощником машиниста; в другой половине жили масленщики, по двое в комнате. В пятом доме – чернорабочие. Тогда-то я и увидел, в каких тяжких условиях проходила жизнь этих бедолаг.

Работали они много, делали беспрекословно все, что прикажут, ходили в рванье, питались, как арестанты, из одного котла, спали на деревянных нарах, кое-как прикрытых тряпьем. Мало кто обращался к ним по фамилии, еще реже – по имени-отчеству. Звали или по прозвищу, или говорили: «Эй, ты!..» Был среди них пожилой человек с ввалившимися чахоточными щеками, которого называли Оська Трах-бах. Был Николай Голый, был Алешка Жижа – вялый, с развинченной походкой, неуверенными движениями рук. Может, тут вообще не знали их настоящих фамилий, их прошлого, – никому это и не нужно было. Спустя годы, читая «На дне» Горького, я мог себе сказать: такое я видел. И горьковские Васька Пепел, Клещ, все его босяки – это мои знакомые Оська Трах-бах, Голый, Жижа...

Кажется, единственный, кто в затоне говорил с ними, как с равными, не подчеркивая своего служебного и прочего превосходства, был наш отец.

Отца мы видели только по вечерам да в воскресенье. На работу он уходил чуть свет. Шаг у него был скорый, стремительный – редко кто поспевал за ним. И хорошо помню руки его: в затвердевших мозолях, шершавые, как рашпиль, но сколько в них было нежности, тепла, когда они прикасались к нам!.. Отец по натуре был мягким человеком, сердобольным, но характер имел сложный, переменчивый и лишь мамин такт смягчал его внезапную резкость. Случалось, выпивал, однако превыше всего ставил дело – не позволял себе из-за выпивки забыть про работу. При нас, детях, старался не курить, говорил нам: «Я курю с детства. Из-за невежества, что вокруг меня было. Никто не подсказал: брось, мол, не остановил... А вам курить не советую! Но если все ж потянетесь к табаку, дымите при мне, обещаю, что наказывать не стану. Накажу жестоко, если узнаю, что тайком папиросками балуетесь!»

Такой педагогический ход оказался разумным. Никто из детей в нашей семье не стал курильщиком – ни тогда, ни будучи взрослыми. К слову заметить, и сам отец позже нашел в себе силы расстаться с курением. А что курение – большое зло, наносящее непоправимый вред здоровью, я как врач убедился на множестве драматичных примеров. Об этом расскажу в одной из последующих глав.

Отец был, как уже можно, наверно, понять из всего рассказанного, примерным семьянином. Ценил семейный уют, любил что-нибудь мастерить, строить, красить, лепить сибирские пельмени... За такими занятиями шутил или песни потихоньку напевал, знал их много. Но если уж из-за какой-то помехи вспылит, взорвется, тогда держись! Иногда он, в сердцах, произносил бранные слова, не адресуя их кому-либо конкретно. Но при детях, особенно при девочках, никогда не позволял себе этого. Бывало, отец вспылит, а мама ему скажет: «Григорий – дети!» И он тотчас же умолкнет. Мама стыдилась дурной привычки отца и старалась перед нами его оправдать, говорила: «Это у него от тяжелого детства, от того, что гнали его по этапу, издевались над ним». Может быть, поэтому, что я тоже переживал за отца, я за всю жизнь свою не произнес бранного слова. И когда слышу, что кто-то ругается, у меня невольно появляется чувство неуважения к этому человеку.

... Время, время! Мы оглядываемся назад, на безвозвратно ушедшие годы, – и в наших воспоминаниях возникает самое светлое время – негаснущее детство. Впечатления детских лет самые яркие, глубокие, и они во многом определяют то, какими мы становимся позже, в зрелую пору нашей деятельной жизни... Пишу эти строки, и хоровод трогательных видений мальчишеской поры кружит меня.

Пожалуй, наиболее глубоко запали в сердце четырнадцатый – пятнадцатый годы, как бы слившиеся воедино.

Слепит глаза река, а по ней вверх, к Киренску, плывут пароходы, баржи, мелькают весла, а вдоль берега, по дороге, идут подводы. Великое множество людей! Пьяно, под рыдающие звуки гармоней, несется песня отчаяния: «Последний нонешний денечек гуляю с вами я, друзья, а завтра рано, чуть светочек, заплачет вся моя семья...» Объявлена мобилизация: война с Германией. И черные платки скорбных старух словно угрожающе напоминают: быть беде в каждом доме, быть беде...

А потом ранней весной – наводнение! Небывалое! Такого и самые древние старики припомнить не могли. Гигантский затор льда протяженностью в несколько километров перегородил русло Лены, и буйная паводковая вода, неся поверху громадные льдины, хлынула на деревни, сокрушая избы, вырывая с корнем вековые деревья, срезая, как ножом, возвышенности. Наши дома стояли на круче, и льдины толкались буквально о порог, кипящие брызги летели в окна. Алексеевцы срочно собирали вещи, увязывали в узлы. Гнали скотину в лес, в горы. Со страхом и одновременно с восторгом смотрел я на разбушевавшуюся стихию: какая силища, какой простор!

Вперемежку со льдинами неслись печальные останки смытых поселений: звенья срубов, обломки изгородей, вздутые туши коров, кухонная утварь. Проплыл чудом уцелевший сарай с живым петухом на крыше. И вдруг увидели мы: на очередной громадной льдине едет скособоченная изба, а возле нее в тоскливой обреченности стоят маленького роста человек и собака. Ближе они, ближе... И хотя это грозило великой опасностью, лодку могло опрокинуть, затереть льдами, ударить о бревно, залить студеной водой, наши мужчины решили помочь несчастной (уже видели, что это девочка лет двенадцати). Я в последний момент изловчился и прыгнул в отходящую лодку.

Мы боролись с течением, отпихивали от бортов ледяные глыбы, а они таранили нас. Было жутко, трое мужчин и мальчик могли надеяться лишь на себя. После, ночами, бессонно лежа с открытыми глазами, я восстанавливал подробности нашего поединка с бушующей стихией, и сладостное чувство победы, обретенной в суровой борьбе, впервые затронуло мое сердце...

Глава III

Фабрик и заводов, кроме царского водочного заводика, у нас не было. Крупные богатеи жили далеко, в Иркутске, а мелкие торговцы-лавочники благоразумно отсиживались за прикрытыми ставнями, по-обывательски выжидая, что же будет дальше.

Три торжественных слова громко звучали на киренских улицах: свобода, равенство, братство! Особенно радостно было слышать и повторять их еще и потому, что в памяти многих не затухало эхо недавнего кровавого события – Ленского расстрела. Ведь Бодайбинские золотые прииски находились всего в четырехстах километрах от нас, и среди

раненых, убитых, среди тех, кого после бросили в тюрьму, были родные и знакомые киренцев.

Оказалось, что в нашем городке долгие годы подпольно действовала большевистская организация, в состав которой входили ссыльные и передовые рабочие, учителя и служащие. Многие из них были удивительно молоды, как, например, наш восемнадцатилетний секретарь райкома партии Иван Васильевич Соснин, в то время, пожалуй, самый авторитетный человек в Киренске. Он и поныне в моей памяти, порывистый в движениях и твердый в словах, умевший не только говорить, но и слушать. Из его уст на общегородском митинге я, тогда мальчишка, впервые услышал имя – Ленин.

Время, что и говорить, было бурливое, волнующее и опасное, особенно в те годы, когда на вершинах сопок и у города замаячили казачьи кони колчаковских разъездов... В нашей семье не утихала тревога за отца и брата Ивана. Хотя официально они и не состояли в коммунистической партии, но их сочувственное отношение к большевикам было всем известно.

О политических настроениях отца говорят, в частности, следующие строки из письма двоюродного брата Коли Бабошина. Он пишет: «Я очень любил дядю Григория и тетю Анастасию. Дядю Григория видел в последний раз в Киренске в 1919 году летом. Тогда меня мобилизовали и везли колчаковцы. Я убежал к нему с парохода. Дядя Григорий взял меня за плечи и сказал: «Коля, убегай из этой гнусной армии при первой же возможности». Я ему обещал и, как только заехали за Кочуг, убежал в числе первых. Наказ дяди Григория выполнил».

Однажды брат Иван лишь по чистой случайности остался в живых.

... Тысяча девятьсот девятнадцатый год. Киренск занят белыми под командой полковника Еркамошвили. В городе введен комендантский час, по улицам ходят военные патрули, полевые орудия и пулеметы грозно нацелены на другой берег Лены – на ремонтные мастерские затона, на деревни Мельничная, Воронине, а также на деревню Бочкарево, расположенную вдоль реки Киренги. Там всюду большевики, их вооруженные отряды. Белые настроены нервозно, над каждым, кто кажется им подозрительным, вершится скорый суд и жестокая расправа...

В четырех километрах от города, в деревне Хабарово, тайно собрался крестьянский сход. Обсуждали один вопрос: как помочь красным? С деловыми предложениями выступил на сходе двадцатитрехлетний учитель Иван Григорьевич Углов... Разошлись, как и собирались, в полной темноте, а на рассвете в Хабарово ворвалась полурота белых. Потом узнали: на сходе незамеченным присутствовал переодетый офицер из семьи киренских мещан. Он немедленно доложил полковнику, что подстрекаемые учителем Иваном Угловым хабаровские мужики готовят лодки для красных.

Брат ночевал на сеновале. При аресте обнаружили у него браунинг, заставили одеться, и в сопровождении конвоя он был доставлен в штаб. Допрашивал его сам Еркамошвили. Полковник, как ни странно, был по образованию врач, но, видимо, забыл об этом – отличался жестокостью, кровь и страдания несли с собой его казачьи сотни. Он со своей частью уже однажды стоял в Киренске, потом ушел вниз по Лене, к Бодайбинским приискам, но, потрепанный в боях с красными партизанами, вновь вернулся сюда с надеждой пробиться в Иркутск. Полковник задал брату два-три малозначащих вопроса и сказал, что за сопротивление правительственным войскам, агитацию в пользу красных он

приговаривается к расстрелу! Два казака-урядника тут же встали за спиной Ивана. Он мысленно простился с белым светом...

В этот момент в комнату вошла молодая женщина. Случайно взглянув на брата, она воскликнула: «Ваня, а ты что здесь делаешь?!» Обняла, стала расспрашивать... Это была близкая подруга сестры Аси Шурочка Попова, дочь местной жительницы и политического ссыльного-грузина, из соображений конспирации принявшего фамилию жены. Шурочка, оказывается, недавно вышла замуж за полковника Еркамошвили, чего брат еще не знал.

Перейдя на грузинский язык, она стала что-то объяснять мужу, но полковник сердито отвечал: «Нет, нет!..» В это время в штабе появились уважаемые в округе крестьяне: узнав, что учителю Углову грозит расстрел, они составили прошение о помиловании, от имени нескольких деревень поручились за него. Полковник, прочитав бумагу, стал кричать на них, но, опомнившись, быстро взял себя в руки: положение было такое, что с местными жителями, особенно деревенскими, приходилось считаться. И Шурочка продолжала настаивать...

– В сорочке родились, молодой человек, – раздраженно сказал брату Еркамошвили. – Из дома не выходить, по вечерам вас будет проверять патруль. А мы тут посоветуемся...

Еще два раза арестовывали в ту пору брата, и при последнем аресте повезли его под стражей в Иркутск, но в дороге стало известно: Колчак разбит! Стражники из «добровольцев» разбежались по своим деревням, а брат и другие арестованные невредимыми вернулись домой.

На восемь лет был старше меня Ваня, мы, младшие, обязаны ему многим. Романтик по натуре, преданный революционным идеям, он всегда был для нас примером: вот как нужно жить и работать для общего народного счастья! Отказавшись от выгодных предложений, он поехал простым учителем в самое глухое, отрезанное бездорожьем место: учил грамоте крестьянских ребятишек, был пропагандистом народной власти. Сотни учеников Ивана Григорьевича, дети и внуки этих учеников трудятся сейчас в разных уголках страны, а сам он, после более чем полувекового учительствования, ушел на пенсию в семьдесят пять лет, отмеченный высокой наградой – орденом Ленина.

Он всем нам привил жажду знаний, а Советская власть дала возможность учиться. В результате все мы, дети малограмотного рабочего и неграмотной крестьянки, получили высшее образование, а сестра Таня стала профессором, заведующей кафедрой глазных болезней. Ей передались золотые руки отца. С редким искусством производит она сложнейшие операции на глазах. Отличается большой добротой души, завидной волей и самостоятельностью.

Именно пример брата, его влияние сыграли главную роль в судьбе моей старшей сестры Аси. Окончив гимназию в 1918 году, набрав чемодан книг, она бесстрашно поехала учительствовать в такое далекое село, где школьных учителей никогда и в глаза не видели, где вечерами еще сидели при лучинах и чужих людей встречали редко, при этом словно бы даже удивлялись, что где-то может быть совсем иная жизнь. Больше недели плыла она с провожатыми по несудоходной Киренге на узком неустойчивом стружке к месту назначения – в деревню Ключи (ныне Казачинско-Ленский район).

Рассказываю об этом, полагая, что хотя моя книга о труде хирурга, но хирург – человек со своим характером, взглядами, убеждениями, которые отражаются на его работе, и чтобы понять их, нелишни, по-моему, некоторые жизненные подробности, тем более что наше

поколение, возмужавшее в революцию и в первые годы социалистического строительства, несет на себе как бы отблеск тех суровых незабываемых дней. По существу, тогда закладывался он, наш характер.

В четырнадцать лет я остался в семье старшим среди детей, и поскольку мать тяжело хворала, а отец с утра до вечера был на работе, нелегкие домашние заботы легли на мои плечи. Зимой в легком пальтишке, в ветхих солдатских ботинках, таких, что подошвы ног примерзали к подметкам, я колол дрова, топил печь, с тяжелыми санками, на которых стояла бочка, ездил на реку за водой, – туда под гору, а обратно вверх, по скользкому льду...

Перед мысленным взором проходят картины детства. В сорокаградусный мороз или пургу, по крутому взвозу, занесенному снегом, напрягая силы, тяну я обледенелые санки, на которых стоит тяжелая бочка с водой. Я тяну санки рывками, отчего вода все время расплескивается, делая дорогу еще более скользкой. В одном месте я не удерживаю санки, они катятся вниз, и бочка опрокидывается, превращая скат в сплошную ледяную гору. Закоченевшими руками водворяю бочку на место и вновь направляюсь к проруби.

Сколько раз падала, обдавая меня студеными брызгами, проклятая бочка! Подниматься же с ней от реки нужно было не раз и не два – вода требовалась для семьи да еще для коровы.

В то голодное время, когда лавки закрылись, когда паек отец получал скудный и нерегулярно, корова была нашей спасительницей. Трудно было содержать ее, но и без коровы, особенно с малышами в семье, хоть пропадай! А как переживали за нее! Грянут жестокие морозы: как она там в хлеву? Кончится сено: где взять, чем кормить? И постоянное опасение было: сколько лихих людей развелось – уведут буренку со двора... По ночам с фонарем выходили смотреть: цела ли? Летом ехали в какую-нибудь дальнюю деревню – зарабатывать сено. Изъеденный в кровь гнусом, который в наших краях не давал жизни ни животным, ни людям, я косил, сгребал сено, возил его и помогал метать зароды.

Помню, как отправился в одну из таких заготовительных экспедиций по горной, порожистой Киренге за двести верст от дома, в деревню Вилуево... Птицей летел по бурной реке наш стружок – лодка, выдолбленная из целого дерева, легкая, но вертлявая, такая, что гляди в оба. Стоишь в ней с шестом в руках, и одна забота: не перевернуться бы, на мель не наскочить, на камень не налететь. Это – когда вниз, по течению. Если же против течения, с грузом к тому ж, – тут семь потов с тебя сойдет, нужно в совершенстве владеть искусством, как говорили у нас, ходить на шестах.

Во время стоянки я взобрался по крутому берегу вверх и замер, пораженный увиденной картиной! Синяя тайга оставалась справа, а впереди, в ярких цветах расстилалась равнина, залитая солнцем, как сказочный ковер она была брошена к подножию седых гор, четко выделявшихся на фоне ясного неба. Казалось, побеги сейчас по этой цветущей равнине – мои спутники не успеют чай на костре вскипятить, как я буду у горного хребта...

– Байкальские горы, – выслушав мои восторженные слова, пояснил шедший с нами на стружке местный крестьянин. – Однако, паря, бежать до них утомительно: триста верст с гаком будет. Кое-кто из наших, зимой туда за соболем ходит.

Позже пришлось мне уехать из сибирских мест навсегда, увидеть разные края – юг и север, наши советские республики и заморские страны, многое меня восхищало своей красотой и неповторимостью, но где бы ни был я, где бы ни жил – любой чарующий пейзаж невольно сравнивал с сибирским, людей – со своими земляками, и выходило так: у вас хорошо, спору нет, но вы у нас побывайте! А у нас – это в Сибири.

* * *

В 1923 году я закончил учительскую семинарию, что примерно соответствует нынешней десятилетке. К этому времени детская мечта стать врачом оформилась в твердое решение: другого пути быть не может.

В сумерках, не зажигая света, мы сидим с отцом за столом, его руки устало лежат на скатерти, тяжелые, широкие в ладони, с расплюснутыми работой пальцами, темные от ввевшейся в них металлической пыли. Я смотрю на них, слушая глуховатый, раздумчивый голос.

– Мне все труднее кормить семью, Федя. Но если хочешь в университет, не препятствую. Одного боюсь: как учиться-то будешь, я помогать тебе не смогу. Был, Федя, конь, да, как молвится, изъездился. Рассчитывай только на себя.

– Папа, я справлюсь, – отвечаю ему, а горло сдавлено волнением и жалостью. – Справлюсь!

– Загадывал, что пойдешь ты работать, – говорит он. – Сразу бы нас двое, работников...

– Не могу без того, папа, чтоб врачом не стать...

– Тогда с богом. – И его ладонь тихо ложится на мою руку. В этом жесте все – одобрение, понимание, прощение, отцовское благословение.

Через день, получив от отца бесплатный билет водника для проезда в Иркутск, с испеченными мамой подорожниками в котомке я отправился в путь. До Иркутска от нас насчитывалось тысяча сто километров. Сначала четверо суток на пароходе до Усть-Куты, затем столько же до Жигалово, а отсюда предстояло путешествие по Лене до Качуга на большой лодке, прозванной шитиком. Вверх по течению ее тащит идущая берегом пара сильных коней. Лошади перекладные – через каждые тридцать километров их меняют. Шесть суток потребовалось, чтобы наш шитик, одолев сто шестьдесят километров, причалил к качугской пристани. Хорошей была эта дорога для меня: новизна впечатлений, поразительная красота диких ленских берегов, ночевки у костра, разговоры со многими людьми и не покидающее ощущение, что с этого момента круто меняется вся моя жизнь.

Качуг встретил дождями, грязь здесь была такая густая, что, того и гляди, сапоги в ней потеряешь. До Иркутска от Качуга ходили обозы – иного транспорта не знали. Но мы, на наше счастье, застали тут грузовые автомобили, – наверно, одни из самых первых в Сибири той поры. Сейчас новым космическим кораблям, пожалуй, не удивляются так, как дивились в сибирских деревнях этим грузовикам! Раскрытые рты, испуг, удивление на лицах людей. Коровы, заслышав рев моторов, очумело неслись от дворов куда попало, лошади рвались из оглобелей, опрокидывали телеги. Все это я видел, сидя в кузове машины, радостный, несмотря на сумасшедшую тряску и то, что был весь заляпан дорожной грязью: то и дело приходилось соскакивать, подталкивать грузовик, подкладывая под его буксующие колеса жерди и доски.

На двадцать второй день пути я прибыл в Иркутск. Город поразил меня многоэтажными зданиями, широкими мощеными улицами, огромным количеством спешащих куда-то людей и множеством извозчичьих пролеток. «Ну, брат, – сказал я себе, – не пропасть бы!..»

Глава IV

На удивление мне, председателем приемной комиссии оказался Иван Васильевич Соснин, бывший киренский партийный секретарь. Вряд ли он знал меня, но фамилия Угловых ему, конечно, была известна, и в том, что я сравнительно легко стал студентом, сыграло свою роль мое социальное происхождение. Вместе со мной на факультет пришли парни и девушки с заводов, фабрик, из деревень. Много было демобилизованных красноармейцев. Их потертые шинели, фуражки со звездочками, островерхие буденовки словно бы еще отдавали горьковатым пороховым дымом, напоминали о вчерашних смертельных боях на фронтах гражданской войны.

Но вместе с ними в университет попадали и дети торговцев, мелких промышленников, а то и крупных богачей. Быстро ориентируясь в обстановке, они поступали куда-нибудь рабочими и через год-два шли в университет под именем «рабочие», хотя вся сущность их оставалась мелкобуржуазной. Подделываясь под рабочих, они сыпали грубости, ругательские слова, приводя в смущение не только девушек, но и мальчишек из подлинно рабочей среды. Они были все «сверхреволюционными». Вежливость, природную русскую застенчивость они высмеивали как пережиток старого, а хамство и ругань выдавали за «пролетарский дух». Мы их долго не могли раскусить.

А профессорско-преподавательский состав был, естественно, прежним. Большинство действительно хотело помочь нам приобрести знания, но все же мы, пролетарская молодежь, долго ощущали отчужденность многих из них, граничащую чуть ли не с брезгливостью. Привыкшие к прежней студенческой аудитории, близкой им по своему классовому сознанию, они иронично, а порой с нескрываемым презрением смотрели на нас, одетых в домотканые рубахи, гимнастерки и тяжелые сапоги, и, конечно же, особенно на первых порах, речь наша была груба для их слуха, а манеры – неуклюжи и резки...

Вот почему, учитывая сложность университетской обстановки той поры, партия посылала сюда опытных коммунистов, таких, как Соснин. Отстаивая и проводя в жизнь партийную линию, они в своей работе опирались на авторитет и поддержку лучших представителей профессуры, которые без предубеждений отнеслись к новой власти, сочувствовали ее начинаниям и преобразованиям. На медицинском факультете, заинтересованно, уважительно относясь к нам, читали лекции и вели занятия крупные ученые того времени: анатом Бушмакин, знаменитый специалист в области эмбриологии и сравнительной анатомии Шевяков, блестящие хирурги Сапожков и Щипачев. У каждого из них был свой характер, свои особенности и даже свои профессорские причуды, но всех их роднила преданность науке, желание учить молодежь, стремление подготовить для России как можно больше высококвалифицированных врачей.

Казалось бы, скучная дисциплина – анатомия, а на лекции профессора Бушмакина, которые он читал для нас, приходили студенты выпускных курсов и даже врачи. Тесно становилось в аудитории, яблоку негде было упасть, локтями не двинешь, так сжимали со всех сторон. Особая привлекательность этих лекций была в том, что профессор приносил с собой остроумно изготовленные им самим наглядные пособия. Так, объясняя тему «Проводящие пути мозга», он пропускал тонкие бечевочки через нарисованные крупным планом срезы головного и спинного мозга на различных уровнях, указывая центры, через которые они проходят. Тут уж можно было уяснить и осмысленно запомнить, а не

механически зазубрить, что такое, например, «трактус-кортико-понтико-церебелло-дентата-рубро-спиналис».

Он очень умело вел групповые занятия в анатомическом зале. Каждый студент должен был тщательно отпрепарировать какую-то одну часть тела, но обязан был хорошо знать и другие, которыми в этот момент были заняты товарищи по группе. Все вместе, помогая друг другу, мы вечерами подолгу задерживались в анатомичке, и когда учеба на трупах подходила к концу, экзамен был сдан, профессор Бушмакин обязательно фотографировался с каждой группой отдельно. Эти фотографии мы, его бывшие студенты, храним, как реликвию.

Запомнился профессор Щипачев, его высокая требовательность к проведению асептики при операциях. Больного тщательно мыли, закутывали в стерильные простыни и в таком виде ввозили в операционную. Здесь начинался целый ритуал, разработанный в подробностях: скрупулезно подготавливалось операционное поле, целая система щеток и разные антисептики пускались в ход при мытье рук... Сам хирург был молчалив – ни единого лишнего слова! И если вдруг он начинал тихонько напевать, мы понимали: профессору трудно...

Профессор Топорков часто любил повторять: «Что на мне нет белого жилета, я могу сказать. Но что у меня нет наследственного сифилиса – этого сказать не могу». В своих увлекательных лекциях он доказывал, что врожденный или приобретенный сифилис лежит в основе многих нервных заболеваний. Его лекции были хороши тем, что в них выявлялись слабые и сильные стороны противоположных методов и направлений, – они будили мысль, звали к самостоятельному поиску правильного решения.

В клинике нам пока ничего не давали делать самим: смотрите, вникайте! А нам представлялось: возьмем нужный инструмент, и пойдет дело... И когда выпадала такая возможность, откуда только брался страх, в мгновение забывались все наставления, руки не слушались, не хотели делать того, что приказывала им голова. Нужно было учиться, учиться, и каждый день, проведенный под руководством ассистентов в клинике, был желанным.

Мучила латынь. Почти никто из нас, поступивших на медицинский факультет с рабфаков или приехавших из глухой провинции, латинский язык до этого не изучал. Сколько упреков было услышано нами, когда начались занятия по фармакологии и рецептуре!

Но уже первые месяцы, проведенные в университете, сделали нас во многом другими: более собранными, уверенными. Мы поняли, что, учась на врача, нельзя разбазаривать дорогое время – только занятия, только книги... Не нужно, разумеется, думать, что не было у меня радостей, развлечений – все было! Однако в то горячее время, когда восстающему из разрухи молодому Советскому государству, как никогда, требовались свои надежные специалисты, мы сознавали: именно на нас очень надеются, нам строить социализм. Мы были чертовски боевыми, настырными ребятами: учиться – до темноты в глазах, спорить на диспутах – пока глотку не сорвешь, песни петь – пока все они не будут перепеты! Хотя и голодно жили, но без уныния – с комсомольским задором, как нынче пишут в газетах.

Стипендия была маленькая: на первом курсе – шесть рублей в месяц, на втором – восемь, а одни талоны на скудное месячное питание в студенческой столовой стоили четыре с полтиной. Повозишь ложкой в тарелке и вздохнешь тут же: то ли ел, то ли это показалось...

В Иркутске жила Ася, моя сестра, была она замужем за бывшим киренским фельдшером Алешей Шелаковским. Теперь Алеша тоже учился на медицинском факультете. Вместе кое-как перебивались.

Брат Иван, учительствовавший в деревне на Лене, раза два за зиму присылал немного денег. Голова от недоедания частенько кружилась, но все ж терпимо было.

Снимал я небольшую проходную комнатку у тихих, не мешающих моим занятиям людей, а соседом по квартире был работник милиции Гаврилов – человек начитанный, преданный своей опасной (особенно по тем временам) профессии. Бывал он в частых перестрелках с контрабандистами, проникавшими на советскую территорию через китайскую границу, бесстрашно ходил на обследование многочисленных в Иркутске той поры воровских и прочих притонов. Вспоминаю его потому, что однажды он предложил мне пойти вместе с ним к наркоманам.

– Тебе, Федор, как будущему медику, полезно на них посмотреть...

В ночной час мы свернули с широкой центральной улицы на узкую боковую, по ступенькам спустились к закрытой двери полуподвального помещения. На вопрос, кто стучит, заданный по-китайски, Гаврилов тоже по-китайски отозвался: Четырехглазый. Нас тут же впустили. Оказывается, за круглые очки обитатели притонов окрестили милиционера Гаврилова «четырехглазым».

В нос ударил тяжелый запах гнили и застоявшейся сырости. В огромной комнате плавал сине-желтый ядовитый дым, приглядевшись, я увидел много людей, в разных позах сидящих и лежащих на захламленном полу. Кое-кто из них спал, кое-кто бредил, бормоча непонятные фразы, другие с тупой полусонной отрешенностью смотрели перед собой и – было видно – ничего не замечали. Иные же с блаженным выражением на лице курили длинные глиняные трубочки, наполненные гашишем. Как после объяснил мне Гаврилов, за щепотку гашиша, вот за такой миг – посидеть с заветной трубкой во рту – тут готовы на любое, самое тяжкое преступление. Порок затмевает разум.

Среди всех особенно жалкий вид имели женщины, опустившиеся вконец, утратившие человеческий облик... Хозяин притона – толстый, с длинной черной косой и заплывшими глазками китаец – подобострастно отвечал на вопросы моего спутника. Гаврилов подошел к одному из обитателей подвала и попросил снять рубаху. Тот, хотя и неохотно, но снял ее. Страшное зрелище представляло собой его тело, сплошь покрытое гноящимися струпами. Это был морфинист, сам себе делающий уколы морфия. Так как при уколе шприц и игла, руки и тело не дезинфицировались, тут же возникало нагноение. Нагноения захватили спину, грудь, плечи. Еще ужасней выглядели у него ноги от паха до лодыжек – на них были огромные, незаживающие язвы. Зачастую морфинисты, подгоняемые нетерпением, вводят себе морфий прямо через одежду, не выбирая, где на теле здоровое место, где рубцы и струпа...

Гаврилов попросил снять кофточку молодую, но изможденную, с потухшими равнодушными глазами женщину, и она безропотно, без признаков смущения обнажила тело. Та же мрачная картина – язвы, сочащийся из-под струпьев гной... Мы осмотрели еще несколько человек, и я подметил: Гаврилова здесь слушают, даже уважают и боятся, и нет у них ни сил, ни желания к сопротивлению.

На улице я вдохнул полной грудью свежий воздух, дышал и не мог насытиться. Гаврилов сказал мне:

– Все они у нас на учете, мы прикроем эти притоны... Но, – помолчав, добавил: – Наркоманию, конечно, так скоро не пресечем. Тяжелое наследие оставлено нам, и нужно лечить, лечить! Вы, врачи, должны многое сделать.

Потом спросил:

– Подгорную улицу знаешь?

– А что там?

– А частушку слышал?

По Подгорной я иду,
Сворочу налево,
Ко милашечке зайду —
Кому какое дело!..

До революции на Подгорной чуть ли не у каждого дома красный фонарь висел.

– Вы меня извините, – сказал я, – у нас, в Киренске, красные фонари не горели, я не знаю, для чего их вешают...

– Святая наивность! – Гаврилов засмеялся. – Такой фонарь – знак публичного дома. И хоть сейчас фонарей не увидишь, публичные дома кое-где в городе содержатся. Опытные вербовщики ловят для них малолетних девушек, молодых женщин, попавших в беду... Удивлен? Вот и знай, какая громадная работа предстоит по оздоровлению общества. Уставать некогда, Федор! Зато завтрашний день будет светлым и чистым!

Мне неизвестно, как в дальнейшем сложилась судьба Гаврилова, но ярко запомнился он – один из энергичных тружеников первых лет Советской власти, посвятивший свою жизнь борьбе с самым темным и гнусным, что выплеснул на городские окраины, как накипь, погибающий капитализм.

* * *

Зима в Иркутске – лютая: трескучие морозы, затяжные метели. Пообносившийся, легко одетый, бегал я на занятия рысцей. В аудитории, когда занимал своё место, долго дул на пальцы, они не слушались, не могли карандаш держать, а ноги нестерпимо кололи тысячи острых холодных иголок... С Алешей Шелаковским решили: как только сдадим весенние экзамены, поедem на реку Лену зарабатывать деньги на одежду и обувь.

Так и сделали... После утомительного пути до Качуга, отдохнув ночь, пошли искать себе работу. Алеше повезло сразу: его приняли на должность приказчика на торговый паузок (особой постройки карбас с высокими бортами и крышей), он мог теперь спокойно и безбедно плыть до Киренска. Мы попрощались с ним, и я уже в одиночку продолжал толкаться среди пристанского люда, узнавая, где какие работники требуются. Выяснил, что самое подходящее для меня – наняться на сплав груженых карбасов.

Карбас – это нечто среднее между плотом и баржой. Квадратной формы, он сделан из толстых досок, ширина его семь-восемь метров, длина двенадцать – четырнадцать. Борта в

нижней части обшиты толстыми бревнами, чтобы судно не боялось нечаянных ударов, а сбоку от карбаса, удерживаемая канатами, плывет по воде плица – полуметровой ширины доска в двенадцать метров длиной. Это – приспособление для снятия карбаса с мели. На таких карбасах в пору весеннего половодья сплавлялась основная масса грузов для снабжения населения ленского бассейна. Работа на них под силу лишь крепким, выносливым людям.

Два карбаса связывают кормой к корме, чтобы носами они смотрели в противоположные стороны, а спереди и сзади устанавливают по огромному веслу из бревна средней толщины. На каждом весле, послушные командам лоцмана, стоят посменно по четыре рабочих. Лоцманами, как правило, плавали местные крестьяне, хорошо знавшие фарватер реки, все ее капризы. От них главным образом зависел успех сплава, от их опыта и умения. А попадется горе-лоцман – рабочим мучение! Если опытный заставляет грести, лишь когда требуется, только в нужном направлении, то от бестолковых команд плохого лоцмана связка карбасов мечется от берега к берегу, гребцам передохнуть некогда, и смотришь – вынесло карбасы на мель! Значит, лезь в холодную воду, налаживай плицу, сталкивай связку с опасного места...

Правда, в таком случае лоцман стремился первым прыгнуть за борт, пример показывал, ведь на сплав нанимались отчаянные ребята, много среди них было уголовников, неизвестно откуда попавших в Сибирь людей... Им ничего не стоило схватить лоцмана за руки-ноги и силой бросить в воду: взялся, гляди в оба, не зевай, не пропускай мели-перекаты!

Вот на такую связку из двух карбасов попал и я. За дорогу до Киренска платили сорок или пятьдесят рублей, а до Якутска – все сто.

Среди моих новых товарищей оказались два-три любителя острых приключений и бывшие заключенные, золотодобытчики-неудачники с Алдана и Витима и какие-то неопределенные личности, перед отплытием спустившие в кабаках последнюю одежонку... Густой мат летел с наших карбасов и уносился к берегам. Хорошо еще что на Лене существовал железный закон – не брать в рот ни капли спиртного, пока связка не дойдет до места назначения. По стакану водки для согревания получали, как исключение, лишь те, кто в холодной воде сталкивал карбас с мели...

В первый же день за то, что не употреблял бранных слов и ко всем обращался предупредительно-вежливо, я был прозван «мазунчиком» и «салагой», надо мной стали издеваться и даже грозились, если уткнемся в мель, бросить вместе с лоцманом за борт! Так уж почему-то водится в компаниях: не похож на всех, белая ворона, значит, клюй его, ребята!.. Слава богу, до вечера на мель не сели, остался я сухим, хотя несколько злых тычков в спину мне досталось. Я, признаться, упал духом, и когда в сумерках причалили к берегу, развели костер, стали ужин готовить, нахохленно сидел в сторонке. Багровые отсветы огня, молчаливая тайга за спиной, темное серебро реки и звезды, отразившиеся в ней, грубая речь моих спутников... Что это напомнило мне? Пушкина!

Я подвинулся ближе к костру и твердо, с большой выразительностью и жаром стал читать вслух. И угас разговор, всякий шум, только слышался мой голос:

Не стая воронов слеталась
На груды тлеющих костей,
За Волгой, ночью, вокруг огней
Удалых шайка собиралась.
Какая смесь одежд и лиц.

Племен, наречий, состояний!
Из хат, из келий, из темниц
Они стеклися для стяжаний!

Много раз декламировал я «Братьев-разбойников» со школьной сцены, пользовался успехом, но, наверное, никогда не был в таком ударе, как в тот вечер. Видел блеск горящих глаз, улавливал взволнованное дыхание вокруг себя. Слабело пламя костра, и никто не пошевелился, чтобы подбросить хворосту. Костер вскоре загас совсем. В полном мраке, окутавшем нас, лишь зловеще светились затухающие угольки, а я читал и читал:

Не он ли сам от мирных пашен
Меня в дремучий лес сманил,
И ночью там, могущ и страшен,
Убийству первый научил?

О чем думали мои слушатели в этот момент? Скорее всего о своей бродяжьей судьбе, о той дикой силе, что подхватила их, заставила покинуть родной дом, очутиться среди глухой тайги. Куда дальше ведет дорога, куда? Пушкин волновал их так, словно бы не поэму они слушали, а искреннее признание одного из своих братьев по несчастью. И когда с неослабевающим напряжением, как перед самой взыскательной аудиторией, я прочитал последний абзац этой поэмы:

У каждого своя есть повесть,
Всяк хвалит меткий свой кистень.
Шум, крик. В их сердце дремлет совесть.
Она проснется в черный день! —

мои слушатели, как зачарованные, долгое время сидели неподвижно и молчали. Наконец, старший из рабочих подошел ко мне и со словами: «Спасибо, друг! Вот ты, выходит, какой!» – крепко пожал мне руку. И другие тесно обступили, услышал я много добрых слов. Просили меня что-нибудь еще почитать... Снова вспыхнул костер, я запел песню, ее дружно подхватили:

Вот вспыхнуло утро, румянятся воды,
Над озером быстрая чайка летит...

Стоит ли говорить, что с этого дня отношение ко мне резко изменилось... А главное: все с нетерпением ждали вечерней стоянки, мы были уже как одна дружная семья, и я с воодушевлением, при общем одобрении, читал стихи Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Кольцова, пересказывал удивительные истории из повестей Гоголя. Пели мы и старинные народные песни. И сколько раз после убеждался я в великой облагораживающей силе литературы: даже самые, казалось бы, черствые, загрубевшие сердца сдаются перед истинной поэзией!

– Ну, студент, – сказали мне при прощании мои товарищи по сплаву, – уважил ты все наше общество. Учись дальше, Федор, и людей хорошему учи!..

Расстались мы с сожалением и надеждой, что в будущих странствиях по Сибири когда-нибудь еще невзначай свидимся...

Отчий дом в Киренске после иркутской жизни показался мне маленьким, и я впервые подумал: к родителям старость подкрадывается, успеть бы сделать что-нибудь для них, не

знавших никогда отдыха. И было так уютно, так славно сидеть за знакомым с детства обеденным столом, слушая неторопливые рассказы о киренских новостях...

И на следующий год, досрочно сдав экзамены, я так же, сплавным рабочим, добирался до родимого городка. А поскольку за спиной у меня было уже два университетских курса, киренский хирург Василий Дмитриевич Светлов охотно взял меня на лето дежурным фельдшером.

Ничего я еще толком не знал и не умел. Опытный фельдшер приободрил меня, дал некоторые советы. Да и сам я жадно присматривался, как он обращается с больными...

Однажды глубокой ночью, во время моего дежурства, привезли такого больного, что я не знал, чем помочь ему, а вызвать хирурга стеснялся: знал, что он поздно ушел из больницы, день у него был тяжелый. Родственники настаивали, чтобы я непременно пригласил Светлова, говорили, что больному час от часу хуже. Я это тоже видел и, в конце концов, растерянный в своей беспомощности, сказал им: позвать доктора не могу, а если они хотят, пусть сами идут за ним...

Когда Василий Дмитриевич осмотрел пациента и сделал все, что требовалось, он, несмотря на поздний час, на то, что до крайности устал, посчитал нужным тут же побеседовать со мной. Он говорил, что мы – врачи, и этим уже все сказано. Я должен был не родственников посылать, а сам немедленно вызвать его, ибо промедление в помощи больному грозит непоправимым несчастьем... А что на свете невосполнимее человеческой жизни? Мне было стыдно, щеки мои пылали, и мудрые слова старого доктора памятны поныне...

Уверенность в себе появилась только после третьего года обучения, когда нас познакомили с клиникой некоторых заболеваний, прочитали нам курсы общей хирургии и терапии. И хотя слабой была эта уверенность, но крепко чувство: я – медик. Летом уже мог поступить на пассажирский пароход судовым врачом: снимал пробу кушаний на камбузе, следил за санитарным состоянием помещений, оказывал помощь при травмах, делал медицинский осмотр принимаемых на работу. И нравилось, когда ко мне обращались, называя доктором.

На несколько дней заглянул я в Киренск и, возвращаясь обратно в Иркутск, пообещал родным, что снова увидимся скоро, на будущее лето обязательно приеду работать в киренскую больницу уже опытным фельдшером, почти врачом. Однако обстоятельства сложились так, что в Киренск я вернулся только через семь лет.

* * *

В основе своей обучение будущей профессии в университете тех лет строилось так же, как это делается сейчас в нынешних медицинских вузах. Разумеется, мы получали для себя меньше специальной информации, чем может взять ее у преподавателей современный студент, – медицина-то за эти годы шагнула далеко вперед! Разница была в одном: мы учились в двадцатые годы, первые годы жизни Советского государства, когда шла борьба за новые отношения, за новую социалистическую культуру. Яростный отпор получали у нас любые попытки пригладить или незаметно протащить в студенческой среде буржуазные тенденции. Наверно, в чем-то мы бывали излишне категоричны, однако чаще всего такой категоричности в решении вопросов требовало само время.

Некоторую растерянность почувствовали мы, когда крикуны из «сверхактивистов» начинали издеваться над тем, что всегда было дорого и свято истинно русскому человеку: над Пушкиным, Лермонтовым, Толстым. Называли их дворянами и буржуазией и под треск «пролетарских» лозунгов требовали вычеркнуть их из учебников русской литературы. Много позднее мы узнали, что меньшевики и троцкисты уже тогда взяли курс на выкорчевывание самобытной культуры русского народа. Между прочим, осознание истинных целей троцкистов приходило к нам по мере того, как они нагнали, все громче заявляли о себе – все жарче в университете кипели споры, а в спорах рождалась и наша политическая бдительность. Прикрываясь звонкой левой фразой, последователи Троцкого требовали пересмотра всего и вся, ставили под сомнение правильность ленинской позиции. Их нападкам, неприкрытой травле подвергались те, кто не поддавался «перевоспитанию», не признавал путаных тезисов Троцкого. И поскольку я был в числе непримиримых, то вскоре испытал на себе холодную расчетливость ударов троцкистской группки, занявшей руководящие посты в нашей университетской комсомольской организации.

Однажды после бурного диспута, на котором четко выявились политические позиции каждого из участников, меня вызвали на заседание комитета комсомола. С удивлением узнал я, что будет разбираться мое персональное дело, а больше всего удивился тому, что вести заседание поручено одному из моих частых противников по дискуссиям. Это был крикливый рыжий парень по фамилии Гросс. В его выступлениях мелкобуржуазные взгляды ловко маскировались высокими и дорогими каждому из нас понятиями: «революция», «диктатура», «интернационал», «социализм», – произносимыми к месту и не к месту через два слова на третье.

– Всех заботит грядущая мировая революция, – сказал Гросс, – а Углова волнует личное благополучие. Его летние поездки на Лену за длинным рублем я квалифицирую как шкурничество.

– Тебе штиблеты и модные штаны папа, наверное, купил, – ответил я. – А мне только тяжелый физический труд на речном сплаве дает возможность учиться зимой. Кроме того, там, среди рабочих, я никогда не забываю, что я – комсомолец.

– Кто за то, чтобы исключить Углова из комсомола? – словно не слыша меня, сказал Гросс. – Мотивировка: за игнорирование святых требований мирового революционного движения.

Сейчас, читая про это, кто-нибудь, вероятно, улыбнется: за такое обвинение и сразу исключить? Мне же тогда было совсем не до смеха: можно было остаться за дверями университета, и понадобилось бы много времени, чтобы доказать свою правоту... Гросс со своими единомышленниками и рассчитывал на подобное. Лишь вмешательство партийного секретаря Ивана Васильевича Соснина помешало ретивым «активистам» расправиться со мною и другими комсомольцами. К слову сказать, впоследствии эти крикуны были решительно осуждены коммунистами и комсомольцами университета и изгнаны из вуза.

А на четвертом курсе произошло памятное до сих пор, приятное событие – поездка группы отличников учебы в Ленинград. Нас было тридцать человек, и целый месяц провели мы в путешествии: две недели ушло на дорогу, другие две были отданы знаменитому городу на Неве. Он восхитил нас своей красотой, строгостью, и, уже тогда, еще не зная, что долгие годы буду жить здесь, я навсегда был покорен широкими проспектами, каменными набережными, удивительными мостами. Тут во всем ощущалась русская история! Сенатская площадь, Петропавловская крепость, Смольный, Зимний... Был январь, город как бы плавал в синей дымке, нежданная оттепель убрала с улиц весь снег – лужи, лужи! Мы прыгали через них в разбухших от сырости сибирских валенках, лишь развевались

полы наших солдатских шинелей и овчинных полушубков, и было такое чувство, будто мы внезапно встретились с весной. Это весеннее настроение мы увозили с собой в заснеженный Иркутск. Уже тогда, еще бессознательно, я попытался породнить их в самом себе – мою Сибирь и Ленинград.

В поезде нам было не скучно: песни, шутки, забавные рассказы, споры, разраставшаяся день ото дня «Дорожная поэма» моего сокурсника и тезки Феди Галызина, в которой смешно изображался каждый из нас. Слушали Федю, хватаясь за животы, подсказывали ему удачные рифмы... В своей молодости, в светлых надеждах на будущее были мы пьяны без вина. Когда сейчас вижу, как порой студенты, хорошие, умные ребята, собравшись вместе, почему-то заводят разговор о покупке спиртного, словно бы без этого немислим отдых, мне становится грустно. Тяга к бутылке, желание непременно иметь ее в походном рюкзаке прежде всего замечается у молодых людей, предрасположенных к преждевременному постарению, а также с неустойчивой нервной системой, приученной к постоянному взбадриванию. А это уже не врожденное, наследственное, это от безволия – да простится мне такое слово – от распушенности.

И вот мы в Иркутске. Днями позже я, как ответственный за поездку, делал о ней отчет на заседании университетского профкома. Во время выступления вдруг почувствовал, что смещаются лица, предметы, стены, сам я будто бы проваливаюсь куда-то... Еле-еле доплелся домой, рухнул в постель и... очнулся только через двадцать четыре дня. Сыпной тиф!

После болезни ходил, как призрак: слабый, истощенный, ветер с ног валил, и не успел прийти в себя – новая напасть! Стали выявляться признаки пиемии, то есть заражения крови, в различных частях тела возникли гнойники, по нескольку дней кряду держалась высокая температура. Вскроют гнойник – температура выравнивается, но спустя какое-то время обнаруживается новый.

Опять операция, и после нее временное облегчение. При очередном высоком подъеме температуры, сопровождавшемся тягостными головными болями, профессор Николаева заподозрила воспаление среднего уха. Потребовался перевод в другую клинику, но никакого транспорта не было, и товарищи по факультету несли меня на носилках с одного конца города на другой...

Изможденный вконец, я приговаривался к страшному испытанию: нужно было долбить долотом мостовидный отросток моего черепа, искать там гной. По сей день не забыл чудовищную боль во время той операции. Когда хирург ударял по долоту, мне казалось, что он с размаху бьет молотком прямо по голове. Терпел на пределе, стиснув зубы и, продержавшись несколько минут, просил: «Дайте отдохнуть!..» А потом – снова удар, удар, удар... Операция была сделана вовремя. Запоздай она, мог бы случиться прорыв гноя в мозг. Но, увы! – для меня тяжкие испытания на этом не кончились. Я должен был перенести еще две сложные операции и бесчисленное количество перевязок. И здесь мне хочется остановиться на важном вопросе хирургической практики, на необходимости щадящего отношения к больному.

Наверное, потому, что мне самому пришлось испытать сильнейшие боли, сам мучился, находясь на операционном столе, я всегда сочувствовал больным, переживал за них, всю свою хирургическую работу старался проводить так, чтобы до минимума свести её травматичность, болезненность. Совсем безболезненных операций почти не бывает, однако сделать их терпимыми, легче переносимыми – это в возможностях врача, это должно быть его обязанностью, долгом.

Я, например, делаю прокол грудной клетки иглой в пятнадцать – двадцать сантиметров ребенку пяти-шести лет, ослабленному затянувшимся недугом, ввожу ему в абсcess легкого раствор антибиотика, и ребенок в этот момент сидит спокойно, разговаривает со мной, даже улыбается. На следующий день он не боится идти в перевязочную, без слез и страха садится на стол для очередной пункции... Рассказываю об этом, естественно, не хвастовства ради, а чтобы убедить: даже такую, сравнительно травматичную манипуляцию, как прокол грудной клетки, можно проводить безболезненно. Было б лишь сострадание в тебе и умение, доведенное до совершенства.

А ведь часто бывает, что боязнь боли, однажды испытанной человеком при лечении, останавливает его в другой раз своевременно обратиться к врачу. «Как вы запустили свою болезнь, – нередко приходилось говорить мне, – почему не пришли раньше?» – и слышал в ответ: «Врач тогда сделал мне так больно, что я решил: лучше умру, чем снова сюда, в больницу...»

Больной всегда чувствует, понимает: вот без этой боли невозможно было обойтись, а это – от плохих, неумелых или недобрых рук врача... «Теперь терпите – будет больно!» – говорит врач больному, тем самым расписываясь в своем неумении работать. Ведь сейчас в нашем распоряжении богатейший комплекс различных обезболивающих средств.

«Подумаешь, потерпеть не можете – нежности какие!» – заявляет другой. Этот даже не стесняется своего неумения, он нападает на больного, ничуть не озабоченный своей слабой профессиональной подготовкой.

«Повышенная чувствительность», «истеричность», – так иногда врачи определяют состояние своих пациентов, которые не могут терпеть боли. Спрашивается: а почему они должны ее терпеть? Только потому, что врач не захотел потратить несколько минут на обезболивание? И когда мы говорим: «добрые, нежные руки», или, наоборот, «грубые руки», – мы понимаем, что дело тут вовсе не в самих руках – руки выполняют волю сердца! Грубые руки у врача – это прежде всего грубое, не знающее сострадания сердце.

Ко мне как-то пришла больная со слезами на глазах и сказала, что нет сил терпеть грубость лечащего врача. Проводя ей бронхографию, он кричал на нее, ругался, не выбирая выражений, заставлял как можно больше высунуть язык, а у нее это никак не получалось, и он схватил ее за язык своими жесткими сильными пальцами так, что поранил корень языка о зубы.

Я посмотрел – на нижней поверхности языка у женщины действительно зияла большая рана. Отпустив больную, вызвал врача и заявил ему, что работать с ним не смогу, пусть подает заявление об уходе... И всегда, когда становился свидетелем жестокого или равнодушного отношения к больным со стороны своих учеников или подчиненных, я был беспощаден к ним, И, раздумывая над тем, почему же среди врачей (в частности, хирургов) встречаются люди с грубыми руками и холодным сердцем, я выделил три причины:

1. Врач может быть беззлобным по натуре, даже добрым в каких-то житейских ситуациях, но у него самого отменное здоровье, он никогда ничем серьезно не болел и попросту не знает, что такое боль. Но это не значит, что врачу обязательно нужно пострадать самому, чтобы понимать боль других. Тысячи гуманных врачей никогда не испытывали на себе печальной участи своих пациентов, однако бережно, с пониманием обращаются с больными.

2. Врач может быть хирургом с такими неподготовленными для профессии руками, про которые в народе говорят: «Руки, как крюки!» Не умея делать все хорошо и легко, он мало заботится о состоянии больного во время операции. Хоть как-нибудь получилось бы – о безболезненности и думать не приходится! Такие врачи напрасно пошли в хирургию, им следует как можно скорее менять специальность.

3. Врачом оказался просто черствый и грубый по натуре человек, которому чуждо любое страдание, кроме собственного. Такой патологический тип попадает и во врачебную среду, а ему в ней не место!

Впрочем, на страницах книги еще будут затронуты подобные вопросы с примерами из практики, а пока вернемся к событиям студенческих лет...

* * *

Операция на черепе, как я уже говорил, не дала никаких осложнений, не сказалась на слухе, я быстро поправился.

И вдруг снова поднялась температура! Сначала думали, что это от какого-нибудь непредвиденного осложнения в ране: раскрывали ее, ковырялись в ней, причиняя мне сильную боль. Однако ничего подозрительного на месте операции не находили. А повышенная температура стойко держалась. Вызвали инфекциониста, и он признал: брюшной тиф!

Везти меня опять в тифозные бараки – слабого, не оправившегося от нескольких операций, нуждающегося в перевязках, значило обречь на верную гибель. И тогда студенты на носилках по требованию Веры перенесли меня к ней в комнату, которую она только что получила для себя и ребенка.

С Верой Михайловной, а тогда, конечно, Верочкой, мы учились на одном курсе, в одной группе, и я в первый же свой университетский год потянулся к этой развитой, начитанной, умной девушке. Была она из интеллигентной семьи: отец – нотариус, мать – учительница, умела быть внимательной к людям, отзывчивой, прилежно относилась к любому делу, особенно к студенческим занятиям. С ней было интересно говорить о прочитанных книгах, о жизни – отличала ее удивительная способность находить красивое, прекрасное в будничном и, казалось бы, примелькавшемся. К третьему курсу мы уже привыкли друг к другу и вскоре поженились.

Больным я пролежал около полугода, только к лету стал понемногу ходить. Из-за моей болезни мы безнадежно отстали в учебе, предстояло остаться на второй год на четвертом курсе. Мое здоровье было сильно подорвано. Последствия тифа выразились в виде глубоких изменений мышцы сердца, в отсутствии свободной соляной кислоты в желудке. Непереносимыми стали физические перенагрузки, нужно было соблюдать строгую диету. А у нас – две скромные студенческие стипендии и маленький ребенок в семье, да еще при продовольственных затруднениях той поры!

Врачи, которые лечили меня, удивлялись: как смог перенести я такие тяжелые болезни и множество всевозможных осложнений после них. «Железный организм», – говорили они. И это было правдой. Я действительно рос крепким, здоровым, привычным к любому труду, с детства любил снарядную гимнастику: у нас дома всегда был турник, висели кольца, стояли во дворе пудовые гири. Мы с братьями рано начинали и чуть ли не позже всех

заканчивали купальный сезон в нашей холодной реке, зимой по утрам выбегали из дома на улицу обтираться снегом, увлекались французской борьбой. Благотворно влиял на здоровье правильный режим питания: мама научила нас вставать из-за обеденного стола немножечко голодными. Придерживаясь этого правила всю жизнь, я с юности и до нынешних лет сохраняю нормальный вес и нахожусь, как говорится, в спортивной форме.

Единственно, что могло отрицательно сказываться на организме, – это отсутствие передышек в работе. В школьные и студенческие каникулы, в первые десять лет после окончания вуза я обязательно в отпускное время ради заработка устраивался на какую-нибудь временную работу: требовались деньги на срочные, безотлагательные покупки, росли семейные расходы. Только позднее я понял, что труд без отдыха губителен для здоровья, один раз в неделю и три-четыре недели в году интенсивного отдыха – это необходимость, пренебрегать которой рискованно.

– Что будем делать? – спрашивала меня Вера. – Ты, как тень, слабый, а впереди суровая зима. Может, переведемся в Саратовский университет: климат на Волге мягче и, опять же, мои родственники там... Как, Федя?

* * *

Саратов нам понравился: просторный зеленый город, манящая к себе красавица Волга и очень современные университетские клиники, которые в Иркутске мы не могли даже представить себе.

Саратовский университет в то время считался одним из крупнейших. Авторитет его медицинского факультета поддерживался известными на всю страну именами, среди которых были Спасокукоцкий, Миротворцев, Разумовский, Какушкин, Николаев. Правда, Спасокукоцкого мы с Верой уже не застали, а Разумовский по преклонности лет отошел от активной хирургической деятельности, но в клинику ходил аккуратно как консультант. И прекрасными были лекции по хирургии профессора Миротворцева! Любили мы практические занятия в его клинике, всегда хорошо организованные, поучительные, неожиданные по своей новизне и смелости, – велись они блестящими хирургами: Самсоновым, Захаровым, Шиловцевым, Угловым.

Со своим однофамильцем П. Т. Угловым мне пришлось познакомиться... на операционном столе. Во время его дежурства меня привезли в клинику с абсцессом – последствием брюшного тифа. Вскрывая его под местным наркозом, он спросил: «Как ваша фамилия?» – «Углов», – ответил я.

«Шутите», – усмехнулся он. «Да нет, говорю, на самом деле Углов. Ваш студент к тому ж, перевелся из Иркутска...» И тут же, во время операции, стали выяснять: не родственники ли? Оказалось, нет.

Запомнились занятия под руководством Н. В. Захарова, Отличный педагог, он поражал нас своей глубокой эрудицией, обширностью разносторонних познаний, а проводимые им операции, с точки зрения врачебного искусства, были образцовыми. Много хороших отцовских качеств переняла его дочь, тоже ставшая впоследствии видным хирургом, получившая профессорское звание, Г. Н. Захарова.

Клиника была передовой во всех отношениях, и, главное, в ее стенах работал дружный коллектив творческих, ищущих новое врачей. Здесь, например, они одними из первых стали применять переливание крови.

Однажды на лекции профессор, демонстрируя нам тяжелую обескровленную больную, объяснил, что при этом случае требуется операция, но при столь низком гемоглобине проводить ее рискованно: нужно перелить кровь. После его вопроса, кто из студентов согласится стать донором, я вышел вперед и предложил себя. Проверили мою кровь на группу и на совместимость – как раз то, что надо...

В клинике это была одна из первых попыток перелить кровь, и брали ее у меня не иглой, а с помощью канюли, для чего вену пересекали и затем перевязывали. Так я лишился правой локтевой вены, навсегда остался у меня на руке след – воспоминание о больной, жизнь которой спасла моя кровь. И свою теперь единственную вену на левой руке я очень берегу, чтобы не оказаться без вены в случае экстренной необходимости сделать какое-то вливание мне самому.

Тогда же проходили у нас занятия по психиатрии. Преподаватель читал лекцию по гипнозу, сопровождая ее показом больных. Люди, которых он нам демонстрировал, после первых же его слов впадали в глубокий гипнотический сон. «Это явление, – пояснял преподаватель, – называется «санамбулизмус моментанус тоталис». Кто возьмется повторить мой эксперимент?» У большинства студентов ничего не получилось, мне же, точно воспроизводящему слова и движения преподавателя, удавалось усыплять больных так же быстро, как делал он сам. «Это оттого, наверно, что у нашего Феди темные глаза!» – крикнул кто-то из товарищей. «Посмотрите на меня, – преподаватель засмеялся, – у меня-то глаза голубые! Воля гипнотизера, переданная с соответствующей интонацией и с нужной решительностью, – вот что здесь основное...»

Позже я не раз пробовал гипнотизировать, и каждый раз больные у меня засыпали хорошо. Эта способность к гипнозу весьма пригодилась в будущей врачебной практике.

Учился я отлично, преподаватели ставили меня в пример другим, прочили мне твердое место в клинике, о котором мечтали многие выпускники, однако я всей душой стремился к работе где-нибудь на окраине, помня о том, что старший брат и сестра поступили таким же образом. Поеду туда, думал я, откуда до городских клиник далеко, где больные страдают без квалифицированной медицинской помощи, там я нужнее. Вера соглашалась со мной: только так! И в своем молодом порыве ехать в какое-нибудь богом забытое место и в глуши быть полезным страждущим сам для себя находил поддержку, раздумывая над судьбой отца.

Он умер в год нашего переезда в Саратов, безвременно, пятидесяти восьми лет, и мне представлялось, как ждал он меня, мечтая, что я вот-вот получу диплом врача, приеду, вылечу его... Суровую школу жизни прошел он, и никакие лишения не могли убить его врожденной жизнерадостности, не заставили его пойти против совести. Нас, своих детей, он учил быть справедливыми и непримиримыми в борьбе со злом.

Оканчивая медицинский факультет, я переживал, что безнадежно опоздал и уже ничем не помогу отцу.

Он был из крепкой породы рабочих людей, и характер у него был истинно русский. В основе такого характера – любовь к народу, которая одних заставляет идти в ссылку, других, к примеру, всю жизнь бессменно дежурить в операционной. Да мало ли на свете дел, занимаясь которыми можешь стать по-настоящему необходимым людям, в самоотверженном служении народу откроешь для себя душевную радость, найдешь смысл всей своей жизни!

Я счастлив, что в год столетия со дня рождения российского мастерового Григория Гавриловича Углова родился его внук – Григорий Углов, в первых самостоятельных проявлениях характера которого уже замечается сходство с дедом. Кем он станет, гадать преждевременно, однако я очень хотел бы, чтобы были у него, как когда-то у деда, золотые руки. Жизнь продолжается в поколениях, и они несут в себе и развивают лучшее из того, что оставляют им отцы и деды.

И тогда, в завершающий год учения в университете, я думал, что где-то сейчас находятся тяжелые больные – ждут, ждут. К отцу я опоздал, здесь уже ничего не поделаешь, но скольким людям я смогу помочь! Ревностно без усталости готовил себя для самостоятельной работы, аккуратно посещал каждую лекцию, какой бы скучной и необязательной ни казалась она, и не упускал ни одного случая первым выйти к столу в тот момент, когда вызывали студента для производства той или иной медицинской манипуляции.

Именно в те дни я хорошо освоил внутривенные вливания больным, а, уже работая врачом на участке, овладел этой процедурой в совершенстве. Позднее, будучи в клинике Н. Н. Петрова, я удивлял его безошибочным попаданием иглы в вену. Умение точно и незамедлительно справляться с этой манипуляцией – первостепенная необходимость для врача. Ведь часто от того, попали ли в вену и как быстро, может зависеть жизнь тяжелого больного. И важно, конечно, убрать неприятные для пациента болевые ощущения. Поэтому в случаях, когда требуется толстая игла – например, для взятия значительного количества крови, или введения большого объема лекарства, – пункцию вены следует проводить под местной анестезией. Совсем не трудно при помощи раствора новокаина получить небольшой кожный желвачок, через который игла пройдет безболезненно. Владая этой методикой, я, например, при необходимости делаю вено-пункцию и внутривенные вливания себе, предварительно наложив жгут и сделав обезболивание.

Сдав государственные экзамены, получив звание врача-лечебника, я с невольным трепетом взял в руки квадратик шероховатой бумаги с указанием места моей будущей работы. Там значилось: «К 1 июля 1929 года прибыть в село Кисловку Николаевского района Камышинского округа Нижневолжского края в качестве заведующего врачебным участком».

Глава V

Село Кисловка оказалось крупным, жителей в нем было больше пяти тысяч, в основном выходцы с Украины. Говорили здесь на удивительном языке: малороссийские слова перемежались с мягко произносимыми русскими. Красили село сады, солнечно стояли в огородах желтые подсолнухи, и по вечерам весело звучали гармонии парней, девушки пели задушевные украинские песни...

В день приезда в сельсовете меня встретил двадцатипятилетний председатель Иван Степанович Марченко, один из десяти активистов на все огромное село, пламенный энтузиаст, агитатор и организатор из тех, кто проводил декреты Советов в жизнь в невероятно трудных условиях. Недавно он прислал мне письмо. Вышел на пенсию. Живёт со своей Анной Власьевной, окруженный уважением людей. А Кисловка, пишет, сильно изменилась, теперь это совхоз сплошной мелиорации.

Мне указали дом, где была отведена для меня комната. Хозяева встретили радушно, тут же усадили за стол. А утром, когда я шел на участок, мужчины приветствовали меня

поклонами, молча разглядывали, каков из себя присланный доктор. Из-за плетней наблюдали женщины. Я старался идти степенно, как и подобало мне по чину, успокаивая себя тем, что скоро многих буду звать по имени-отчеству, что везде хороших людей больше, чем плохих: приживусь, стану своим для кисловец.

На участке, несмотря на ранний час, меня уже ждали. Крепко пожал руку фельдшер Павел Петрович, много лет до этого исполнявший обязанности заведующего. Он представил мне «персонал»: акушерку Веру Георгиевну и санитарку Нюру. Последняя тут же поспешила объяснить мне, что, по ее мнению, все болезни бывают от злости.

– Давайте тогда в работе не будем злиться друг на дружку, – шутливо сказал я, – чтобы самим не заболеть!

Мы посмеялись, и я понял: тут ко мне будут относиться доброжелательно. А это уже много значит!

Больница была на десять коек, имелось и родильное отделение, в нем ежедневно лежали одна-две роженицы. Поликлиника, в которой предстояло вести амбулаторный прием, состояла из четырех комнат: кабинета врача, зала для ожиданий, аптеки и процедурной. И мы сразу же распределили обязанности. Вера Георгиевна должна была регистрировать больных, а затем в процедурном кабинете проводить нуждающимся назначения врача. Ей в помощницы выделялась Нюра, которая за три года хорошо освоилась с перевязками, компрессами, ставила банки, следила за чистотой и порядком. А Павел Петрович должен был готовить в аптеке и отпускать лекарства по моим рецептам. В нужные, затруднительные моменты я всегда мог пригласить его помочь мне...

В первый же день, услышав о приезде «ученого» врача, на прием пришло столько больных, сколько я никогда больше на участке не видел. Небольшими группками ожидали они своей очереди на улице, на ветерке и каждого выходящего от меня встречали вопросом: «Ну как он – помог?»

Болезни были самые разнообразные, и я чувствовал себя в положении утопающего, брошенного в глубокий омут. Приходилось барахтаться! Тщательно расспросив пациента, я просил его выйти и подождать за дверью, сам же начинал лихорадочно листать привезенные с собой учебники и справочники, проверяя по ним точность своего диагноза, отыскивая, как правильно пишется обнаруженная болезнь по-латыни, какие и в каких дозах нужно назначить лекарства...

Впрочем, неуверенность прошла быстро. Прилежание и интерес к делу помогли обрести веру в свои силы.

Когда одолевали сомнения, так ли я определил болезнь, звал Павла Петровича. Моя откровенность, уважение к его опыту нравились старому фельдшеру, много дельного подсказывал он, и впоследствии я никогда не пренебрегал его советами, мы научились с полуслова понимать один другого. Когда рядом образованный опытный фельдшер – это сильно облегчает работу врача, особенно начинающего. Фельдшер может научить тому, что прошло мимо тебя в студенческие годы. В дальнейшей хирургической деятельности, например, меня часто выручали практические приемы, усвоенные от Павла Петровича или Алеши Шелаковского (Алексея Александровича!), тоже бывшего фельдшера. Часто лишь благодаря этим приемам, знанию фельдшерских секретов, я не выбывал на несколько дней из строя, когда, казалось бы, иначе и быть не могло, они давали мне возможность не прекращать занятий, делать операции.

Однажды, забивая гвоздь в стену, я промахнулся и со всего маху ударил молотком по тыльной стороне кисти, от острой боли искры из глаз посыпались! Находившийся рядом Алеша Шелаковский ощупал руку, сказал, что перелома кости, слава богу, нет, только сильный ушиб. Я с грустью подумал, что завтра руку разнесет, и недели две работать не смогу... «Не дадим тебе от дела отлынивать», – засмеялся Алеша, принес банку с йодной настойкой и густо смазал ею всю мою руку – от кончиков пальцев и выше локтя... Проснувшись утром, я с удивлением обнаружил: ни боли, ни отека нет! И этот фельдшерский метод надежно помогал позже, я на себе убедился в его эффективности.

Когда у меня появляется какой-нибудь инфильтрат, гнойничок или фурункул, я, вспоминая добрым словом Павла Петровича, следую его давнему рецепту: прикладываю и больному месту ватку, смоченную чистым спиртом, и держу ее так минут сорок – шестьдесят, вечером и на следующий день повторяю эту процедуру. Процесс, как правило, приостанавливается, быстро купируется. Нельзя только на спиртовую вату накладывать вощанку или клеенку: это уже будет спиртовой компресс – возможен ожог.

Столь же успешно пресекаю в самом начале развитие панариция или флегмоны на руках, опять же используя совет из копилки фельдшерского опыта. Опускаю больную руку в такую горячую воду, как только можно терпеть и по мере остывания воды добавляю в нее кипяток – в течение часа. После на больное место нужно наложить спиртовую высыхающую повязку на час-полтора, время от времени продолжая смачивать вату спиртом.

Конечно, любой практический совет необходимо всегда пропускать через призму собственных медицинских знаний. Как и врачи неодинаковы в своей профессиональной подготовленности, так и среди среднего медицинского персонала встречаются чудачки, чьи наставления нередко нельзя слушать без улыбки, и благо, если такие советы безвредны... Думая о достойном во всех отношениях Павле Петровиче, не могу не вспомнить другого фельдшера той поры – из соседнего села Солодушино, что находилось от Кисловки в шести километрах. Сюда на должность заведующей амбулаторным участком получила назначение Вера Михайловна. В помощниках у нее состоял бывший ротный фельдшер, пожилой человек с унтер-офицерскими замашками и зычным командным голосом. Когда больные собирались, он приказывал тем, у кого болит голова, отойти вправо, а остальным – влево. Первым давал аспирин, другим, всем без исключения, – касторку.

Поэтому в дни, когда Вера Михайловна почему-либо не могла вести прием больных, я вечером приходил в Солодушино и подменял ее. Легко шагало берегом Волги, далеко к горизонту убегали желто-зеленые поля, предвечерняя сиреневая дымка ложилась на них, от речной воды веяло прохладой, было ощущение покоя, прикосновения к вечной земной красоте, обступавшей меня... И все же какое-то неясное томление закрадывалось в сердце, тревожило, и на смену тому, что было здесь, приходили видения отчего края: более могучая и своенравная, чем Волга, наша Лена, ее дикие, подминаемые величественной тайгой берега, а видимые глазом далекие заснеженные горы, неоглядный простор и родной сибирский говор на улицах и улочках нашего Киренска... Крепко жили во мне видения родной стороны.

В тот первый в моей практике амбулаторный прием в кабинете у меня побывало более шестидесяти человек – мужчины, женщины, дети, – и у каждого своя боль, свои страхи, свои надежды... Я был измучен до крайности, хотелось немедленно, тут же помочь каждому, всем, но как – этого доктор Углов еще толком не представлял, путался, устанавливая диагноз, боялся ошибиться – столько похожих симптомов у совершенно

разных болезней! Рябило в глазах от судорожно переворачиваемых страниц справочников... Как на грех, после обеда Павла Петровича увезли в ближайшую деревеньку к лежащему больному, неизвестно было, когда он вернется...

– Доктор, мальчишка кровью исходит!

– Давайте его сюда.

Какая глубокая, зияющая рана! Занимает больше половины лба. Оказывается, верблюжонок копытом ударил. Надо срочно швы накладывать. Сумею ли? И ведь чего только не пробовал на занятиях в университетской клинике, чему не учился, а вот такое не приходилось делать, инструмент для наложения скобок никогда в руках не держал... Сам упустил или упустили нам показать? И что сейчас гадать, нужно делать.

– Нюра, готовьте инструмент!

– Сейчас, Федор Григорьевич. А ты, мальчик, не реви. Доктор поможет, выправит, крепше прежнего лоб будет!..

Операционного стола мы не имели: мальчика уложили на кушетку, и я попросил родителей держать его за ручки и ножки. Собственные руки дрожали, никак не мог захватить края раны пинцетом... Возился долго, с большим трудом, но все же справился – рана была обработана, кровотечение остановилось. Родители и родственники мальчика одобрительно переглядывались, а Нюра тайком, по-свойски, подмигнула мне: все хорошо, а ты боялся! Она догадывалась, как переживал я...

Не обошлось в этот день и без курьеза.

В кабинет вошла молодая украинка и, озираясь на дверь, шепотом сказала: «Доктор, у меня низ болит...» – «Что ж, – отвечаю храбро, – раздевайтесь, ложитесь на кушетку, посмотрим, где там у вас внизу болит...» Она страшно смутилась, покраснела и показала пальцем на свой нос: «У меня, доктор, болит нис...» Тут-то я понял: нос!

Но так – суматошно, в растерянности – прошел именно первый день, а в последующие я быстро освоился с работой: не было нужды поминутно заглядывать в книги – ведь все в голове, нужно лишь сосредоточиться, вспомнить, я же это знаю!.. Стал быстрее и лучше понимать больных, как бы путано и нескладно они ни рассказывали о своих болезнях. Здесь, в Кисловке, сам себе говорил спасибо за то, что был прилежным и активным на факультетских занятиях, посещал все лекции, тщательно готовился к экзаменам! Приобретенные за годы учения знания оказались поистине бесценными. Однажды ко мне на квартиру – в комнату, где я только что сел за обед, – вбежал в испуге местный крестьянин со словами: «Помогите, жена умирает!» На его лошади быстро помчались на нужную улицу. В избе на полу в глубоком беспамятстве лежала женщина лет тридцати. Внезапная потеря сознания, тяжелое и прерывистое дыхание у больной заставили меня подумать об эмболии легочной артерии, тем более что ее муж объяснил: «Была хорошая, а тут грохнулась и лежит...»

По моему указанию женщину положили на телегу и осторожно повезли в больницу. Обеспокоенный, я сел рядом с нею и стал прощупывать пульс. Что это?! Состояние больной кажется опасным, а пульс – редкий, спокойный, хорошего наполнения. Может, это всего-навсего истерический припадок? Стал расспрашивать мужа о начале приступа, о том, что предшествовало ему, и он неохотно признался, что часом раньше больная поругалась со

свекровью, была меж ними яростная перепалка, «как две гуски щипались...» Еще сказал, что жена после таких встрясок, случалось, падала, но быстро вставала, не как сейчас...

Мое предположение об истерическом заболевании вроде бы подкрепилось, однако я опасался: не ошибиться бы! Но пульс у женщины, когда приехали в больницу, по-прежнему оставался спокойным и редким. Тогда я решил применить гипноз. Положил руку на ее лицо, пальцами прикрыл веки, стал произносить обычные для гипноза фразы: «Ваши веки припечатаны... вы засыпаете... так... сон ровный, без памяти, без сновидения... так... вы спите хорошо, но слышите меня и выполняете мои приказы... чувствуете себя хорошо... У вас ничего не болит... вы дышите ровно, спокойно... так, хорошо...» Больная продолжала дышать прерывисто и глубоко, но я не отступал: «Вот вы уже дышите совсем ровно... еще ровнее дышите, еще спокойнее... так... все хорошо!»

К моей радости, после повторных внушений дыхание женщины действительно выровнялось, и я, продолжая сеанс, уже не сомневался в его хорошем результате.

«Вы спите спокойно, дышите ровно, у вас ничего не болит... Правда, у вас ничего не болит?... Вот и хорошо, что у вас ничего не болит, вы поправились и чувствуете себя здоровой... Сейчас вы проснетесь совсем здоровой... Я сосчитаю до трех, и вы проснетесь. Раз... два... три!» Больная открыла глаза, увидела меня, ничего не могла понять в страхе и удивлении: куда это попала?!

– Вы кто, дядька? Это чего еще такое?

Я успокоил ее, объяснил, вывел на крыльцо больницы, теперь уже к удивлению мужа и прибежавшей сюда расстроенной свекрови. Никак не ждали они, что все так легко и благополучно кончится. Свекровь бросилась целовать невестку, они сели на телегу и помчались к дому. Я смотрел им вслед и улыбался.

А спустя какое-то время муж этой женщины снова подогнал своего резвого коня к больничному зданию, вошел ко мне с петухом под мышкой, очень красивым, золотистой расцветки. Я наотрез отказался принять от него «гостинец», он упрашивал, и дело кончилось тем, что крестьянин выпустил петуха на больничном дворе, а сам уехал. И этот красавец с огромными шпорами и факельно светящимся гребнем долго жил при больнице, постепенно превратившись в мелкого попрошайку – кланчил у посетителей хлебные крошки и все, что у тех могло быть. Больничного петуха знало все село.

Кроме Кисловки, я обслуживал село Раздолье, в восьми километрах ниже по Волге. Ездил туда, проводил осмотры, приемы, выступал на собраниях с беседами на медицинские темы и по текущему моменту. Работал увлеченно, без усталости, и вдруг грянул гром! Произошло несчастье, стоившее мне ужасных переживаний.

В амбулаторию принесли ребенка в тяжелом состоянии. Диагноз не вызывал сомнений – крупозная пневмония. Выписав рецепт на лекарство, я послал мать с ребенком в процедурную, чтобы акушерка, Вера Георгиевна, поставила ему на грудь банки.

Как потом выяснилось, акушерка отлучилась по вызову роженицы, в процедурной оставалась за нее Нюра. Ставить банки она умела, делала это давно и, экономя скудные запасы спирта, использовала для этой процедуры... бензин. В тот день, занимаясь уже с другим больным, я вдруг услышал жуткие крики. Вбежал в перевязочную, увидел пламя на теле ребенка и на одежде Нюры. Схватив простыню со стола, быстро окутал ею малыша, погасил на нем пламя, помог Наре... Оказалось, она нечаянно пролила бензин на тельце ребенка и на свой халат. Ребенок и так был ослаблен болезнью, а тут ожоги второй степени

на спине и бедре! Как ни старались вырвать его у смерти – не получилось. Я смотрел на него и ничего не видел и не слышал... Рыдала Нюра...

А вскоре, по заявлению родителей, меня вызвали в районный народный суд, который присудил врачу Углову шесть месяцев принудительных работ условно. «За что?» – спрашивал я себя. Было невероятно жаль погибшего мальчика и в то же время я не мог взять на себя вину за его гибель. Решение суда казалось мне несправедливым. Неужели носить эту судимость, как темное пятно, всю жизнь? Почему? Несмотря на уговоры окружавших, что, мол, судебный приговор мягкий, пустяковый, а может быть хуже, я подал кассацию в окружной суд. Много дней и ночей прошли в мучительных раздумьях, пока ожидал повестку из Камышина.

На заседании окружного суда при полном зале праздных любопытных судьи, как мне казалось, задавали провокационные вопросы: не хотели толком разобраться – перебивали, не слушали объяснений, не вдавались в подробности... В моей уставшей от переживаний голове билась теперь одна лишь мысль: здесь меня не хотят понять, срок и тяжесть наказания будут увеличены, судимость станет моим вечным спутником, больные откажут мне в доверии, передо мной навсегда закроются двери в большую медицину... И когда объявили, что суд удаляется на совещание, я, не имея сил спокойно ожидать решения, выскочил на улицу, долго бродил по городу, полный самых мрачных предположений. Шли и ехали на подводах навстречу люди, у колодца смеялись девушки, где-то весело играл струнный оркестр, – какое кому дело до меня!

Когда же я вернулся в здание суда, там уже никого не было. Побродив по комнатам, нашел хмурого пожилого человека, по-видимому, секретаря. Спросил его, какое решение было по делу Углова. Тот долго рылся в бумагах, затем недовольно сказал:

– Ходите тут, отвлекаете... Оправдали твоего Углова. Дело прекращено за отсутствием состава преступления.

Я выскочил из душного помещения на улицу, под высокое ласковое солнце, и прохожие, чудилось мне, – каждый из них! – смотрели теперь на кисловского врача приветливо. Домой летел, как на крыльях. На смену многодневной апатии, угнетавшей меня, пришло хорошее настроение, желание работать, работать! Нужно расширить больницу, снабдить ее необходимым оборудованием, добиться увеличения персонала. Кроме журнала «Усовершенствование врачей», следует выписать другие периодические специальные издания, чтобы, живя в Кисловке, не отставать от нового, от всего, что волнует современную медицину... Роились в голове, обгоняя друг дружку, светлые мысли! Как давит на человека беда, и как обновленно возгораются в нем творческие силы, стремление трудиться, когда все черное остается позади.

По-прежнему, конечно, было жаль погибшего мальчика, его измученное личико то и дело виделось мне, и внезапное душевное облегчение вновь уступало место скорби и трезвому укору совести: пусть для тебя это будет уроком на будущее, ты ответствен за все, что происходит в доверенной тебе больнице...

Нужно сказать, что этот трагический эпизод был встречен кисловцами с пониманием, не подорвал хороших отношений к нам: по-прежнему у меня было много пациентов, ежедневно я мотался по вызовам, с большой нагрузкой работал Павел Петрович. В эти же дни на участке был еще один случай смерти больного – и никто нас не упрекнул и не мог бы упрекнуть за него.

Умер секретарь сельского Совета. Он ездил по деревням, в дороге заболел, надеялся, что отлежится, недомогание пройдет само собой. К нам его привезли с большим аппендикулярным инфильтратом. Во всех медицинских наставлениях утверждалось, что в таком состоянии больного ни оперировать, ни эвакуировать нельзя – может быть только терапевтическое лечение. Долгие часы мы с Павлом Петровичем проводили у его постели. В моменты просветления больной со слезами на глазах умолял нас спасти его. «Окончательную победу социализма в деревне хочу увидеть, – шептал он воспаленными губами. – В меня враги стреляли – не убили, а неужто так умру?..» Было тяжело слышать его еле внятный голос. Мы применили все, что рекомендовалось в учебниках, но перебороть запущенную прогрессирующую болезнь не смогли... И родные покойного после похорон пришли ко мне с теплыми словами благодарности за те бессонные ночи, что мы с Павлом Петровичем провели у его изголовья, за наши врачебные старания.

– Что ж, батюшка, – сказала мне мать секретаря. – Ты с нашим горем сам исстрадался, лицом почернел. Значит, тому было быть, сильнее всех нас, значит, эта хворь оказалась. Что не оставил нашу семью в черный час – за это кланяемся...

Во время дальнейшей практики мне приходилось видеть различных людей, разное отношение с их стороны к нашему труду. Чаще всего человек понимает неоценимость усилий лечащего врача, направленных на сохранение здоровья, жизни, и сказанное им от всей души спасибо согревает уставшее докторское сердце... Однако я не раз сталкивался и с проявлениями самой черной неблагодарности, и она действовала удручающе: разве жестокостью отвечают на добро? Врач многие дни самоотверженно, бескорыстно находился у постели больного, переживал, старался помочь, облегчить боль, вылечить недуг, а ему после чуть ли не в лицо плевали! Бывало, повторяю, такое, причем, от самых разных людей – от малокультурных и образованных, от рядовых и руководящих работников...

Не могу не вспомнить одну больную с митральным стенозом. Она приехала из Якутска в пятидесятые годы с парализованной правой половиной туловища (на почве перенесенной эмболии). Была у нее та стадия запущенности заболевания, которая относится к четвертой и даже пятой стадии: декомпенсация сердца, печень выступала из-под реберного края на семь-восемь сантиметров, синюшность, одышка, в легких, находящихся на грани отека, большие застойные явления... Ни в какой другой клинике ей не брались делать операцию. Но так как она приехала издалека и отправить ее назад – значило бы обречь на неизбежную гибель в дороге, мы, несмотря на отсутствие у больной необходимого вызова и разрешения нашего главврача, приняли ее.

Несколько месяцев с помощью всех доступных нам средств выводили женщину из состояния декомпенсации, готовили к операции. И эта операция была невероятно трудной, с последующими осложнениями, которые потребовали напряжения сил всего персонала клиники. Достаточно сказать, что больная из-за парализованных дыхательных мышц умирала от дыхательной недостаточности и застойной пневмонии – и мы вынуждены были наложить отверстие в трахее, через специальное устройство попеременно дышали за больную в течение двух недель, день и ночь, вручную – аппарата для автоматической подачи воздуха у нас тогда не было! Не было в ту пору и специалистов-реаниматоров. Так что контроль за дыханием оперированной осуществляли те же врачи и медицинские сестры, которые при этом обязаны были выполнять свою основную работу в клинике. То был поистине героический, самоотверженный труд всего медицинского коллектива! Ночь дыши за больную, а днем никто тебя не может освободить от прямых служебных обязанностей: ведь сколько еще критических пациентов в палатах!

И какой наградой всем нам были те дни, когда стало ясно: женщина поправляется, мы отвели от человека неминуемую, казалось бы, смерть. Через полтора месяца явления декомпенсации у нее исчезли полностью, ей было разрешено вставать и ходить. Но не тут-то было! Женщина, привыкшая к состоянию неподвижности, упрямо отказывалась подняться с постели. На наши уговоры, а затем категорические требования, чтобы она двигалась, в ответ нам в лицо вдруг полетели такая брань, такие оскорбления, что, признаться, мы растерялись. А дальше – больше: что ни день – слезы на глазах у нянечек и медсестер, их жалобы на то, что больная из Якутска не выполняет предписаний, интригует, перессорила всех в палате, грубит. Было больно и странно наблюдать такое... Однако мы еще не знали, что ждет нас впереди! Ко всеобщему изумлению коллектива клиники, эта женщина при выписке сочинила жалобу в восемь адресов – в министерство, редакции центральных газет, в самые высокие правительственные и партийные учреждения. В ней мы именовались «шайкой бездельников», «неучами», «врагами человечества». Сколько комиссий приезжало для проверки так называемого «заявления на врачей простой жительницы сурового Севера», сколько нервов было попорчено, сколько дорогого времени ушло на писание объяснений! И недоумение во взглядах моих подчиненных: почему?! Месть за доброту!

Давно это было, а помнится, как помнится любая незаслуженная, оскорбляющая лучшие твои чувства обида. Но, конечно же, намного сильнее память о другом – о проявлениях человеческого благородства. Именно об этом вспоминаешь, когда наваливается усталость и чьи-то необоснованные упреки догоняют тебя, как бы толкают в спину, требуют оправданий, когда оправдываться-то не в чем... Тогда и говоришь себе: а все же Россия стоит на порядочных, разумных людях, их великое множество, а тех, других, – единицы. На каждый плохой пример – десять хороших, и в них находишь утешение для себя и поддержку для своей дальнейшей работы.

Невозможно забыть, как при драматичных обстоятельствах увидел я всю глубину истинного русского характера одного из любимейших ленинградцами художников сцены – Игоря Олеговича Горбачева, ныне народного артиста СССР. К нам в клинику в состоянии крайней тяжести привезли его мать. Сложно было установить, что в данном случае: сочетание катастрофы в брюшной полости с присоединившейся пневмонией или только пневмония, симулирующая острый живот? Если это пневмония – операция противопоказана; если же первый вариант, несмотря на пневмонию, потребуется операция. Тщательная проверка всех данных и состояния больной убедила нас: тут худшее, чего опасались. А проведенная операция подтвердила: при тяжелой пневмонии острое воспаление поджелудочной железы с омертвением.

После операции в течение нескольких дней мы упорно продолжали бороться за уже обреченную жизнь... У нас осталось болезненное чувство вины перед сыном, который ни на час не уходил из клиники, с глубокой надеждой смотрел на нас, чувство вины, очень знакомое, думаю, большинству врачей: почему же мы оказались бессильными, все ли необходимое сделали для того, чтобы отвести несчастье?!

Игорь Олегович, горячо любивший мать, убитый безутешным горем, нашел в себе силы прийти ко мне, подавленному случившимся, поцеловал меня со словами:

– Спасибо за все, что делали для мамы. Вы так помогали ей, как, не знаю, сумел бы я помочь ей сам, будучи врачом... Я это почувствовал, это останется во мне на всю жизнь...

А когда однажды в новом спектакле ему пришлось играть роль хирурга, он не один час провел в операционной за моей спиной, стремясь постичь особенности нашей работы.

Разумеется, затрагивая тему взаимоотношений врача с больным или его близкими, я предполагаю, что сам врач в своем поведении должен быть на высоте. Он ни при каких, самых смягчающих обстоятельствах не имеет права на невнимание или резкость по отношению к больному или его родным, Ведь как бы родственники ни надоедали вопросами и «советами», как бы ни мешали они в самый ответственный час, следует помнить: они переживают за родного им человека. Вспомните свою боль, поставьте себя на их место!

* * *

Рассказывая о жизни и работе в Кисловке, и поныне живо, в подробностях помню деревню той бурной поры. Какие громкие и грозные голоса звучали тогда на ее улицах, какие страсти сталкивались, как мучительно зарождалась колхозная новь! Рушились вековые крестьянские представления, круто ломались прадедовские обычаи и традиции, и те, кем вчера помыкали, кого ни во что не ставили, твердо, властно заявляли свое право на землю, на свободный труд, в коллективном хозяйстве видели залог будущей справедливой, обеспеченной и культурной жизни. И, конечно же, в Кисловке были свои Давыдовы и Нагульновы, происходили события, очень похожие на те, что талантливо описаны М. Шолоховым в «Поднятой целине», Л. Сейфуллиной в «Перегное», С. Залыгиным в повести «На Иртыше».

Даже у нас в больнице не было тихо. И я, как врач, оказывался втянутым в разговоры и споры, ко мне обращались за советом и чтобы я рассудил... На всю округу людей с высшим образованием было раз-два, и обчелся. Пристально, с жестковатой требовательностью смотрели на нас и пореволюционному настроенные массы, и богатеи: а вы с кем? У меня, выходца из трудовой рабочей семьи, колебаний не было: я отнес в сельскую ячейку заявление с просьбой принять меня в партию большевиков. В октябре 1929 года получил кандидатскую карточку и первое партийное задание: выявить излишки хлеба у кулаков.

Когда мы пришли к одному из справных хозяев, упорно отказывавшемуся продать государству зерно, спрятанное в тайник, он, увидев меня, махнул рукой:

– Раз сам доктор тут, забирайте хлебушек. Он мне сына вылечил, другого на ноги поставил... Знали кого послать, ему не откажешь. – И сам показал, где у него в сарае была зарыта пшеница...

Но это, естественно, случай из редких, или, как иначе любят говорить, не типичный. В классовых схватках никто не сдавал позиций добровольно – были поджоги и ночные выстрелы в активистов. Подметные письма с угрозами получал и я. Особенно обостренным было время выселения из деревни зажиточных хозяев, время, названное в нашей истории периодом ликвидации кулачества как класса. Кулаков отправляли в северные края, слёзы и проклятия встречали нас на пороге жилищ, мужчины нередко хватались за топор или вилы: «Не пуцу!» Тяжелыми были разговоры.

– За что так? – угрюмо спрашивал тот самый хозяин, что из-за уважения ко мне днями раньше открыл тайник с зерном.

– Стоите на пути сплошной коллективизации.

– А мы в сторонке, сами по себе, мы тихо...

– Середины нет, вопрос поставлен таким образом: кто не с нами, тот против нас! В сторонке – это тоже против...

Однажды по заданию партийной организации я готовил одну такую семью к отъезду: указывал, какие вещи взять с собой в дорогу, заполнял необходимые бумаги. Собирались тут молча, покорившись участи.

Это была семья зажиточного крестьянина, пользовавшегося авторитетом в деревне, так как он сам и члены его семьи были всегда примером на любой работе. Может быть, поэтому за закрытыми воротами их двора собралась необычно большая толпа, в которой можно было видеть и бедно одетых крестьян. Толпа гудела, и я слышал бранные слова на свой счет. А когда вышел во двор, ворота под мощным нажимом растворились, и люди двинулись на меня.

Что было делать? Что мог я один против этой толпы, подогретой самогоном и злым шепотком: «Бить их, коммунистов!» Оружия у меня, конечно, не было, да и если было бы – не в нем сила.

Я медленно пошел навстречу толпе, засунув правую руку в карман. И, видимо, поразившись моему решительному виду, люди остановились, а я все так же продолжал идти на них, как до этого они шли на меня. И толпа попятилась, отхлынула за забор! Я затворил ворота и вернулся в избу – сборы заканчивались...

Нельзя не отметить, что эта сцена оставила у меня тяжелый след. Я знал, что это трудовая русская семья, знал, что все, имеющееся в хозяйстве, она создала сама. И все же ее выселяли из родных мест. Люди, не совершившие никакого преступления перед своим народом и односельчанами, должны уезжать неизвестно куда. И зачем? Такие мысли возникали в голове молодого кандидата партии, но я не находил на них ответа.

Тогда же секретарь партийной организации Колтунов Павел Васильевич поручил мне съездить в деревню Александровку, что была в двадцати километрах от Кисловки. Там проводилось собрание, нужно было выступить в поддержку первых колхозников, дать отпор кулацким наскокам.

Когда я вошел в школьный класс, где проводилось собрание, долго не мог разобраться, что к чему. Удушливо плавал сизый табачный дым, в котором неясными пятнами проступали возбужденные лица, и такой галдеж стоял – слов не разобрать. Оказывается, кулаки взяли верх, было у них много подставных крикунов, и малочисленные голоса местных партийцев тонули в реве и гаме. Шум смолкал, как только начинал говорить кто-нибудь из подкулачников. Если же поднимался коммунист или кто-то из сочувствующих, тут же раздавались свист и грохот... Оценив обстановку, я выждал момент и громко сказал: «Товарищи, к вам обращается доктор!»

Слушали меня не перебивая, внимательно. А я говорил, что моя профессия – лечить людей, спасти их жизнь, но сейчас я приехал сюда, чтобы помочь правильно решить главный вопрос, тоже касающийся жизни людей: как жить завтра? Привел несколько примеров в поддержку линии деревенской партиячейки. И я заметил, что настроение людей поднялось, сразу стало больше сторонников у бедняцкой части собрания. И хотя кулаки снова попытались испробовать прежний маневр – в беспорядочном шуме утопить принимаемую резолюцию, – этот маневр ничего уже изменить не мог... Необходимое решение приняли большинством поднятых рук.

Между тем на улице уже была глубокая ночь. Распрощавшись, я собрался в обратный путь.

– Мы вас не можем отпустить, – сказал мне встревоженный секретарь партийной ячейки, – только что узнали: кулаки готовятся отомстить вам, хотят встретить на выезде из деревни...

– Но мне нужно ехать, меня ждут в Кисловке...

– Не можем отпустить, – повторил секретарь и, обращаясь к членам ячейки, сказал: – Товарищи, кто за то, чтобы доктору Углову запретить отъезд из деревни по мотивам ненужности лишних партийных жертв. Прошу голосовать. Единогласно.

Мне оставалось только подчиниться...

Поньше не угасает в душе чистота и суровость партийных взаимоотношений тех лет. Зримо видится первый партийный секретарь Колтунов, беспощадный к врагам и внимательный к товарищам.

– Тебе, Федор Григорьевич, – говорил он мне, – нужно закаляться против излишней доверчивости, которой имеешь больше, чем следует. Товарищ, он всегда на равных с тобой, будет спокойно в глаза глядеть, а который вьется сбоку, беспричинно улыбается тебе, на его устах один мед и никакой критики и самокритики – ты такого научись распознавать!

Должен признаться, что в иные моменты я забывал напутствие Колтунова: не умел вовремя разглядеть зло, скрытое под маской доброты, жадность, выдаваемую за бережливость, подлость, замаскированную под благородство. После тяжело сыпались удары! Но один ли я такой? И не в нашем ли это национальном характере пытаться найти хорошее даже там, где никто другой его не видит?

* * *

Перенесенный мною три года назад тиф снова напомнил о себе. Я стал ощущать постоянное недомогание, меня знобило, было холодно даже сердцу. На врачебном консилиуме порекомендовали: поезжайте работать в южные районы страны. Была осень 1930 года.

Прощай, Кисловка! Прощай, моя первая «самостоятельная» больница! С грустью уезжал я отсюда, сознавая, что очень многое здесь мне дорого, и сам я стал тут своим, чуть не полсела пришли меня провожать, кто-то совал в телегу, к моим чемоданам, узелки с вареными яйцами и пышками; хмурился, покашливал, переживая по-своему, мой славный помощник Павел Петрович. Мы обнялись, расцеловались.

А потом была железная дорога, мимо пробежали просторы Украины с пышными садами и белыми хатами, и вот он, юг – высокое голубое небо, не виданные дотоле пальмы, завораживающая лазурь моря, гортанный говор на улицах... Я получил направление в село Отобая Гальского района Абхазии. Вручавший мне предписание веселый кавказец сказал:

– Будешь жить там, как князь, дорогой, обещаю. Сам бы туда поехал, но куда тебя дену?! Поезжай ты!

Не знаю, что имелось в виду под ожидавшей меня якобы в Отобае «княжеской жизнью». Наверно, лишь то, что под больницу выделили дом сбежавшего князя. Просторный, он был сколочен из досок, давно не ремонтировался: в стенах зияли изрядные щели, гуляли сквозняки, во время ливней с потолка струилась вода... Камин, заменявший в доме печь, грел лицо, руки, но спина нещадно мерзла... Возможно, вот из-за таких жилищ, из-за сырого климата я встретил здесь столько людей с пневмонией, сколько не приходилось видеть даже в Сибири. В нашей больнице, во всяком случае, больные могли лежать лишь в теплое, сухое время года. В другие же месяцы главной работой были выезды на дом к нуждавшимся в лечении или скорой медицинской помощи.

Эти поездки иногда ночью, в дождь, при сильном ветре были как опасные приключения. Конь под тобой осекается, с трудом преодолевает горные ручьи, кручи, непролазную грязь. Твой спутник, суровый незнакомый человек, не говорит за всю долгую дорогу ни единого слова, а кругом – ни огонька, никаких примет близкого человеческого жилья...

Как-то повезли меня к больному ребенку за много километров петлевыми каменистыми тропами. У мальчика оказалась запущенная дифтерия, он погибал не столько от затрудненного дыхания, сколько от сердечной недостаточности. Я делал все, что мог, чтобы вывести малыша из тяжелого состояния, и видел: поздно, уже не спасешь... Несколько часов самых напряженных моих усилий не дали никаких результатов. А в соседней комнате собралось человек пятьдесят родственников, и как я только выходил, чтобы помыть руки или еще за чем-нибудь, наталкивался на мрачные лица. Признаюсь, было жутко и тоскливо. А вскоре убедился: ничто уже не поможет, мальчик умирает. Дыхание у него стало тихим, поверхностным, хрипы исчезли, личико вытянулось, нос заострился. Я приподнял веко и коснулся роговицы – ребенок не реагировал... От давящего чувства собственного бессилия, от усталости, от того, что я не оправдал чьих-то надежд, что мне могут не поверить, – подкашивались ноги.

Когда я проходил через комнату, где по-прежнему молчаливо сидели родственники, снова ощутил спиной тяжесть их взглядов. Они еще не знали, что все кончено... Во дворе я нашел своего коня, вывел его за ворота, и в этот момент в доме раздался страшный, душераздирающий крик. Я вскочил в седло и погнал коня прочь. Мне казалось, что здесь не поймут, почему невозможно было помочь мальчику, меня догонят и растерзают. И действительно, вскоре я услышал перестук подков за своей спиной, спешил, готовый к худшему. Но подъехавший человек сказал мне, что я напрасно столь поспешно покинул печальный кров: меня там уважают, и разве не все в этой жизни смертно – даже железо, даже камни и горы. А что лица у близких мальчика были мрачные – это ведь тоже объяснимо: умирал общий любимец, своя, родовая кровь... Человек проводил меня до Отобая, на прощанье почтительно пожал руку.

Этот случай лишний раз убедил меня, как авторитетно наше звание – врач. Везде, в любой обстановке.

Как и в Кисловке, в Отобае я был врачом по всем специальностям. Особенно много больных обращалось, повторяю, с пневмонией. Не знающие тогда про антибиотики и сульфаниламидные препараты, мы лечили их лишь тем, что было в нашем распоряжении. Назначалось камфарное масло под кожу, а при снижении температуры – отхаркивающее и банки... Возвращаясь мысленно к тем годам, я думаю, что опытом минувшего освещается настоящее и будущее. И медицина, чтобы достичь нынешнего уровня, должна была пройти через тот, кажущийся нам сейчас в чем-то примитивным, период.

Но основное заболевание, с которым приходили ко мне, была малярия, вековая спутница тех мест. Она страшно изматывала людей. Худые, желтые, с огромной селезенкой, занимающей весь живот, измученные приступами лихорадки, они страдали невыносимо. Лечение знали одно – хина внутрь и в виде уколов. Последние действовали лучше, но были болезненны.

Всю тяжесть заболевания малярией я испытал на себе. Прицепившись, трепала она меня беспощадно. Странное и гнетущее чувство испытываешь, когда вдруг в жаркий летний день или в натопленной комнате тебе становится невыносимо холодно. Что бы ни надел на себя, во что бы ни закутался – спасения нет: лихорадка начинает трясти так, что зуб на зуб не попадает. О стакан с горячим чаем зубы стучат так, что боишься его разбить... Но и чай не помогает! И так с полчаса или немногим больше. А потом дрожь внезапно прекращается, и сразу становится тепло. Еще немного, и уже жарко! Весь в испарине, не знаешь, куда деться от навалившегося на тебя зноя; он давит, давит, и ты обливаешься липким потом... А через несколько часов, когда приступ заканчивается, во всем теле ужасная слабость, с трудом заставляешь себя одеться, двигаться не хочется: в постель бы, и лежать, бездумно лежать до утра... У меня признали сразу две формы малярии, в том числе самую тяжелую – тропическую. От приема больших доз хины я совсем оглох... Вот тебе и лечение солнцем! Приехал на юг укрепить здоровье, а приходится уезжать отсюда еще более ослабленным, чем был до этого. А главное, обдумывая первые годы своей работы, я с ужасом видел: знания ничтожны, я слабо разбираюсь в болезнях, мало что знаю о современных методах лечения, я врач по диплому, но сам себя назвать настоящим врачом пока не могу – нет на то права, совесть не позволяет... Нужно продолжать учиться.

Глава VI

И опять дорога... Впереди ждал меня Ленинград – прекрасный город, запавший в сердце с первой поездки в студенческие годы. Под мерный стук вагонных колес думалось все о том же: как стать хорошим врачом, как стать умелым хирургом? Да что там умелым! Таким, как Щипачев, Миротворцев, Краузе, чьи смелые и блестящие по исполнению операции довелось мне видеть в университетской клинике. Или Разумовский... Он хотя и не оперировал тогда, но его присутствие на операциях, присутствие выдающегося хирурга, чувствовалось во всем... И как она ответственна, работа хирурга!

В общем, когда ехал из Сухуми в Ленинград, мысли мои были только о хирургах и хирургии. Я говорил себе: или сейчас, или никогда... Или сейчас я выберу врачебную специальность, стану совершенствоваться в ней, отдам ей всего себя, осуществлю золотую мечту детства, или останусь врачом вообще. Кое-чему, конечно, научусь, кое-чего достигну, вот только работа будет не по вдохновению, а так, как у многих, – исполнением обязанностей... Предстояло выбрать.

И в Ленинграде прямо с вокзала я пошел в горздравотдел, во многих кабинетах побывал, много слов выслушал, но своего добился: меня направили в больницу имени Мечникова – в клинику профессора Опеля. До сих пор уверен, что это было самое ответственное решение из всех, когда-либо принятых мною в жизни. Этот августовский день 1931 года официально приобщил меня к хирургии. Теперь уж навсегда!

Вере Михайловне выписали направление на кафедру акушерства и гинекологии. Подняв на руки детей, мы пошли ленинградскими улицами. И солнце, чудилось, светило сильнее, чем когда-либо, приветливо сиял золотой шпиль Адмиралтейства, верилось только в

хорошее, в то, что все прекрасное в жизни лишь начинается... Подмывало нетерпение работать, засучив рукава! Ведь там, на периферии, самые большие операции, которые делал, – это вскрытие флегмоны да панариция. И делал-то их, признаться, так, как бог на душу положит, – чуть ли не в расчете на «авось». А теперь предстоит овладеть чудесами высокого хирургического искусства. И где? В клинике самого Владимира Андреевича Опделя!

Профессор Оппель в то время был одним из наиболее популярных хирургов-экспериментаторов. Он смело брался за «операции отчаяния» – за такие, которые хотя и были единственной надеждой на спасение больного, но в то же время из-за тяжести считались сверхопасными, практически безнадежными. Брался, и очень часто ему сопутствовал успех!

Как ученый, В. А. Оппель много писал по общим вопросам хирургии, по хирургии желудка, был ведущим специалистом в области военно-полевой хирургии. Его пытливый, беспокойный ум не мог мириться с простой констатацией фактов. Не разгадав сущности некоторых заболеваний, он привлек к себе в помощь эндокринологию, пытаясь – и во многих случаях не без успеха! – объяснить те или иные патологические расстройства в организме нарушением функции той или иной железы внутренней секреции. В частности, для объяснения сущности так называемой самопроизвольной гангрены, при которой наступает омертвление конечностей, нередко в самом молодом возрасте, он выдвинул теорию гиперфункции надпочечников. А для лечения такого заболевания предложил операцию удаления одного из надпочечников.

Эта теория вызвала бурные споры на страницах специальных медицинских изданий и на заседаниях Хирургического общества, на конференциях, где сам Владимир Андреевич Оппель демонстрировал во всем блеске свои богатейшие ораторские способности. Недаром на его лекции студенты, как говорится, валом валяли, и многие опытные врачи считали за честь побывать на проводимых им практических занятиях. И ведь поныне теория гиперфункции надпочечников, предложенная В. А. Оппелем, имеет своих сторонников. Значит, с такой захватывающей убедительностью была она в свое время обоснована.

А эта теория, в которой В. А. Оппель выдвинул новый оригинальный взгляд на сущность заболевания, была не единственной у него. Так, например, возникновение анкилозирующего спондилоартроза, при котором происходит прогрессирующая неподвижность позвоночника, он объяснял нарушением функций некоторых эндокринных желез... И труды, написанные его рукой, читаешь с увлечением, поражаясь отточенности мысли и совершенству доказательств. Не удивительно, что под руководством такого большого ученого выросла плеяда крупных отечественных хирургов. В тот год, когда я робко вошел в двери клиники, здесь работали такие выдающиеся мастера скальпеля, как профессор Назаров, профессор Самарин, доктор Торкачева, доктор Бок...

– Ну, Федя, – подбадривал я сам себя, – нам подкачать никак нельзя. Мы, сибирские, – гордые и упрямые, давай держаться!

* * *

Поражала клиника – ее масштабность, размах, совершенное оборудование. И поначалу я все же терялся – из убогой сельской больнички, и сразу сюда! Поражал и сам Оппель, неповторимы были его показательные операции. Демонстрируя свой точный глазомер и точность расчета руки, он одним движением скальпеля рассекал сразу все слои брюшной стенки до брюшины включительно. Правда, многие к этому относились неодобрительно.

Николай Николаевич Петров, который был очень осторожным хирургом, внушал своим ученикам, что так делать не следует, здесь заложен ненужный риск для больного. И он рассказал, что однажды в его присутствии Оппель при большом разрезе, выполненном одним смелым движением руки, не только вскрыл брюшину, но и сделал надрез стенки тонкой кишки...

Удивляло меня, что будучи в обычных условиях человеком, в общем-то, выдержанным, корректным, на операциях этот большой ученый мог накричать на ассистентов, отшвырнуть в сердцах инструмент... Молодые врачи боялись ему ассистировать, и я тоже избегал этого, опасаясь, что в ответ на резкость сам отвечу резкостью и, конечно, тут же буду изгнан из клиники.

Как интерн – врач для черновой повседневной работы – я был прикреплен к одному из ассистентов для обычного лечебного дела. До сих пор благодарю судьбу, что при таком случайном распределении попал не к кому-либо, а именно к Марии Ивановне Торкачевой – искусному хирургу и талантливому педагогу. Ее одухотворенное лицо обращало на себя внимание среди сотен других. Будучи человеком сильной воли, она исключительно заботливо относилась к слабым, и чем тяжелее, безнадежнее был больной, тем больше привязывалась к нему, тем одержимее стремилась помочь, делая буквально невозможное. Требовательная к себе, она была беспощадной к нам, своим помощникам, ее распоряжения отличались четкостью и краткостью. Единственно, с кем она бывала безукоризненно внимательной, ласковой, даже многословной, по-матерински заботливой – это с больными.

Помню, как к ней в отделение попал юноша с тяжелым септическим остеомиелитом (воспаление костного мозга) нескольких трубчатых костей. Ему делали бесконечное количество разрезов, долбили кость, у него было много свищей, из которых сочился гной. Ослабленного, истощенного, его считали практически безнадежным: все врачи клиники отказались продолжать лечение. И Мария Ивановна, взяв этого несчастного к себе, ухаживала за ним, как за собственным ребенком. Сама с ложечки кормила, приносила из дома вкусные и питательные кушанья, безропотно выслушивала его капризы, настойчиво добиваясь главного – поднять силы этого парня, разуверившегося во всем, ставшего озлобленным, добиться перелома в его болезни. И добились! Не только перелома, а, в конечном счете, полного излечения.

С восторгом, даже – точнее – с благоговением смотрел я на Марию Ивановну, удивлявшую своей самоотверженностью и самопожертвованием. В ее отношении к больным я видел идеал врача и сам старался всячески помогать ей, охотно выполняя любую черновую работу.

И сейчас, спустя многие годы, думаю: пусть не всегда у Марии Ивановны хватало выдержки и такта по отношению к нам, своим помощникам, в ее требовательности никогда не было мелочности, а за вспыльчивостью скрывалась заботливость. И она первая научила меня в сомнительных случаях ставить себя на место больного и тогда уж решать вопрос, как поступить... И хирургическая техника, которой я добился, была достигнута мною благодаря Марии Ивановне, вернее, тому, что с самого начала тщательно выполнял все ее указания и советы.

Не изгладится из памяти, как я под ее ассистенцией делал свою первую операцию – ампутацию по методу Шопара. Уже в ходе операции Мария Ивановна в строгой форме сделала мне несколько замечаний, говоривших о том, что она недовольна моей работой. А после операции, мне был устроен лихой разнос: я, как выяснилось, не знаю анатомии. Я, оказывается, не умею держать в руках инструменты, не умею манипулировать, работать левой рукой, хорошо завязывать узлы – и вообще: хочу ли я быть хирургом?!

Я сидел красный, как после бани с парной, а Мария Ивановна продолжала обвинения – и все это громко, в сердцах, высоким голосом. А закончила угрозой: если я не приобрету навыки в хирургической технике, больше к операции допущен не буду. И практиковаться следует не на больных, а дома или в перевязочной. И должен избрать себе определенный метод завязывания узлов, освоить его в совершенстве, и так далее и тому подобное... Гнетущее чувство собственной неполноценности давило на меня, однако я сознавал: Мария Ивановна права. Обижайся не обижайся – права!

В своих требованиях к нам, особенно когда ей казалось, что мы недостаточно внимательны к больным, Мария Ивановна могла быть придирчиво-невыносимой. И однажды, выведенный из себя ее нападками, я в сердцах воскликнул:

– Что за скотское обращение!

– Вам не нравится? – тут же гневно ответила она. – Иначе не могу и не буду. Ради больных готова обращаться еще и не так. А если не хотите со мной работать – уходите! Скажу профессору – вас завтра же переведут к другому ассистенту.

Ничего страшного в том, что меня пошлют в другое отделение, не было: каждым отделением руководил опытный хирург – ассистент профессора, у которого тоже можно было многому научиться.

Как я должен был поступить?

Впрочем, для меня не было вопроса. А задал его сейчас, задним числом, лишь потому, что впоследствии сталкивался с удивительно странным (если не сказать сильнее!) отношением учеников к своим наставникам, таким отношением, что просто диву даешься. Для некоторых чуть ли не нормой стало: получил он замечание, сделан ему выговор за нерадивость или неумение, – ах, так, побегу с жалобой в верха! Меня обидели, но и я нервы попорчу! Мало ли что работать не умею, с обязанностями не справляюсь – ты меня вот такого уважай!.. И начинает крутиться колесо никому ненужных, мешающих делу разбирательств и объяснений. И не хочет понять человек, что уважение других заслуживают хорошими делами, порядочным поведением, а нет этого – уважать не прикажешь. Никакая административная инстанция не поможет.

К сожалению, не все понимают, что, поддерживая кляузника или жалобщика, мы тем самым обрекаем его на гибель как будущего специалиста.

Сочувственно относясь к его необоснованным требованиям, мы как бы благословляем этого человека идти в науке легким путем, а разве легкий путь – особенно в хирургии – может быть? Невольно приходит на ум известное суворовское правило о том, что если в учении трудно – в походе будет легко. Но всегда ли следуем этому?

И тогда, молодой, неопытный специалист, я понимал, а вернее – чувствовал: Мария Ивановна желает мне только добра. В интересах достижения высокой цели я должен смирить гордыню, пусть мне говорится что-то в резкой форме, повышенным тоном: главное тут не форма, а содержание. И как мне ни было в тот день обидно, я подкараулил вечером Марию Ивановну и попросил у нее прощения за свою вспышку. И, боже, какой радостью засветились ее глаза, как обрадовалась она! Как все сильные люди, она была проста и душевна. Наверное, с той поры мы стали друзьями.

Попросив у перевязочной сестры основные хирургические инструменты, я в течение нескольких месяцев ежедневно кропотливо работал с ними дома, имитируя различные операции, приучал к ним не только правую, но и левую руку. Действуя хирургической иглой и иглодержателем, штопал чулки, обязательно помещая чулок в ящик стола, возясь с ним вслепую, чтобы научиться владеть инструментами в трудных условиях. Выбрал наконец и понравившийся мне метод завязывания узлов, стал практиковаться быстро и точно завязывать их. На это, забегая вперед, скажу, ушло целых восемь лет, причем тренировался ежедневно! Зато мастерства достиг. Во всяком случае, так отметил Н. Н. Петров. Учитель, помнится, делал резекцию желудка, а я ему ассистировал. Обычно он сам завязывал узлы. А тут, едва он успеет продернуть нитку и передать иглодержатель сестре, я уже мигом закончу узел. Он с удивлением посмотрел на мои руки и раз, и другой, а потом сказал: «Ну и зол ты, папенька, узлы завязывать!»

А Мария Ивановна после того памятного разноса доверила мне делать новую операцию при своей ассистенции ровно через три месяца. И на этот раз я уже не услышал от нее ни одного замечания. Бесценной наградой прозвучали для меня сказанные ею слова: «Совсем другое дело... Видно, что поработали над собой!»

Я не переставал тренироваться в освоении техники операций. Этому же позже настойчиво учил своих учеников. По одной операции, которую посмотрю, могу теперь безошибочно определить: тренируется ли этот хирург дома, совершенствуя свою профессиональную технику, или ограничивается лишь практикой на больных. Я знал студентов шестого курса, которые по умению, отработанному в домашних тренировках, стояли выше, чем хирурги с тремя годами практики. А чтобы в совершенстве отретпетировать тот или иной прием, его необходимо повторять тысячи и даже десятки тысяч раз. Дома у себя я могу это сделать за три-четыре месяца, если же буду осваивать его только на операциях, понадобятся годы.

Продолжая рассказ об уроках М. И. Торкачевой, хочу обратить внимание на то, чего уже касался в этой главе: на ее чрезвычайно бережное и уважительное отношение к больным. Мария Ивановна никого из больных, даже самых молодых, не позволяла себе звать на «ты». Не терпела, когда кто-либо обращался к пациенту развязно или со снисходительно-пренебрежительными нотками в голосе. Добивалась, чтобы мы, молодые врачи, разговаривали с любым больным, как с самым уважаемым и дорогим человеком. Именно с тех пор я непреклонно следую этому хорошему завету и всегда пресекаю любую грубость или вульгарность в обращении с больными, если замечаю такое у своих подчиненных.

Как пошленько и жалко выглядит со стороны врач, позволяющий себе фамильярность с больными, граничащую с цинизмом. Недавно я с возмущением узнал, как вел себя во время обхода доктор Е. К. С-в. Обращаясь к пожилой женщине с заболеванием кишечника, он спросил ее: «Ну что, бабка, про.....?» Нецензурное, не употребляемое в обществе и литературе слово как бы повисло в тишине палаты. А «бабка» взглянула на С-ва испуганно-недоуменно и одновременно брезгливо и, ничего не ответив, отвернулась к стене. «Да, был стул», – поспешил сказать ординатор, готовый от стыда за своего старшего коллегу сквозь землю провалиться. Он-то знал, что «бабка» – видный ученый, профессор из Технологического института. И лишь на самодовольном лице С-ва не было и тени смущения...

* * *

Как самого молодого и самого безотказного, меня часто направляли в терапевтические и инфекционные клиники консультировать больных, когда оттуда приходило требование прислать хирурга. Сначала очень смущался, когда такие знаменитые терапевты, как, например, профессор Вышегородцева, спрашивали моего мнения, советовались со мной. И это, конечно, повышало чувство ответственности. Вечерами я уходил в читальный зал, долго сидел над книгами, конспектировал. Тут, под шелест переворачиваемых страниц, возникла у меня дерзкая мысль: сделать шажок в науку – описать несколько случаев гнойников прямых мышц живота при брюшном тифе.

Дело в том, что во время консультаций я встретил перенесших брюшной тиф больных, у которых образовался гнойник в стенке живота – у всех в одном и том же месте. В специальной литературе этот вопрос был освещен мало, можно сказать, поверхностно, и Мария Ивановна одобрила мое намерение: «Проблема в руки вам идет – углубляйте!»

Через несколько месяцев настойчивых занятий мой доклад был готов. Предложили заслушать его на заседании Оппелевского кружка. К тому времени Владимир Андреевич Оппель умер, и руководителем клиники стал Н. Н. Самарин.

Стоит ли объяснять, как волновался я в этот день, какие противоречивые чувства одолевали меня! Все ли согласятся со мной, что гнойники возникают вторично, а вначале имеет место гематома, которая, в свою очередь, образуется на месте перерождения мышц с последующим их разрывом и гематомией? Со всей тщательностью я приготовил препарат, где гематома прямой мышцы живота была показана как предстадия абсцесса.

Вопреки моим опасениям, доклад был встречен с интересом. Профессор Нечаев, крупный терапевт, сказал, что доклад доктора Углова относится к таким, после которых уходишь с ощущением приобретенной пользы, обогатившись какими-то новыми сведениями. И другие члены кружка сказали добрые слова в мой адрес. Все было как нельзя лучше, пока не заговорил профессор Самарин.

– Покажи препарат, – попросил он.

Я кинулся к тому месту, куда его положил, но его там не было. Выяснилось, что дежурный санитар выбросил его... в туалет. Я был подавлен.

– Даже одно это – отношение Углова к препарату характеризует его как никудышного научного работника, – раздраженно заявил профессор Самарин. – И почему такое восхваление доклада? В нем, разобраться, нет ничего от науки, а из Углова, вижу, никогда толкового научного работника не получится. Крыльев для полета нет. Не получится!

Мария Ивановна пыталась меня утешить, говорила, что Самарин сегодня не в духе, от этого и его раздражение, на самом деле он так не думает. Я слушал и не слышал ее, ощущая, как от стыда, обиды, унижения горят мои щеки. Мнение руководителя клиники казалось мне убийственным и, главное, где-то подспудно, глубоко в себе, я даже как бы соглашался с ним. И тут же решил: вернусь на периферию. Если не способен заниматься наукой, постараюсь быть хорошим хирургом. Просто хирургом.

Чуть ли не на другой день было объявлено, что горздравотдел проводит мобилизацию врачей-коммунистов для работы на Крайнем Севере. Я попросил записать меня добровольцем. Решил поехать на свою родину, в Восточную Сибирь, по условиям тоже приравненную к районам Крайнего Севера.

Так я поступил в распоряжение Ленводздравотдела, откуда тут же получил указание: до лета, пока не откроется водный путь, пройти курсы специализации по рентгенологии. Но занятия на этих курсах пришлось отложить: по приказу военкомата я был направлен на другие – хирургические. Это было как нельзя кстати! Я знал, что там, в Сибири, мне не с кем будет советоваться, должен буду решать все сам, операции предстоят разнообразные, самые ответственные, и я с жадностью слушал лекции, что нам читали, прикидывая при этом, как можно будет использовать полученные сведения при самостоятельной работе.

Хотя у нас читался курс военно-полевой хирургии, мы за три месяца прошли все основные разделы общей и специальной хирургии. Много внимания было уделено брюшной полости, а также травматологии, ортопедии, челюстно-лицевой хирургии, нейрохирургии. Каждое занятие возбуждало неслабеющий интерес: а что еще узнаю? Помогало то, что кое с чем я уже сталкивался в своей небогатой врачебной практике, а мысль о том, что в районной больнице мне предстоит встретить подобных больных, заставляла вникать во все тонкости: как поставить диагноз, как лечить, как делать операцию, какой должен быть наркоз, какая анестезия?

С не меньшим интересом, не покидавшим меня в те дни душевным подъемом проходил я и курсы специализации по рентгенологии при кафедре профессора Самуила Ароновича Рейнберга. Здесь нас учили, что диагноз не может быть чисто рентгенологическим, он должен быть обязательно клиничко-рентгенологическим: детально знакомили с клиникой того или иного заболевания, дополняя ее сразу же рентгенологической картиной. И тут, внимательный, активный на занятиях, много читавший дополнительной литературы, я обратил на себя внимание профессора. Он был очень удивлен, что я не рентгенолог и не собираюсь им быть. Вызвал к себе и долго убеждал «не бросать рентгенологические способности на ветер...»

– Вы рождены быть рентгенологом, – доказывал мне С. А. Рейнберг. – Способных хирургов много, и неизвестно еще, будете ли вы способным среди них... А рентгенолог вы уже состоявшийся, да еще с божьей искоркой.

Но мой выбор был сделан, и ничто – ни похвалы, ни первые неудачи и лишения – не могло заставить меня колебаться, скрупулезно взвешивать все «за» и «против»... А рентгенология – я уже тогда понял – всегда будет оказывать неоценимые услуги в моей хирургической деятельности. И особенно пригодилась она мне, когда я стал заниматься хирургией легких и сердца. Умея читать рентгеновский снимок, я мог самостоятельно принимать то или иное решение, опираясь при этом еще на знание клиники, и мнение специалиста-рентгенолога было для меня любопытным и важным, но, признаюсь, не обязательным.

Прохождением курсов по двум дисциплинам, по существу, закончилась моя подготовка к поездке в Сибирь. Вещи было собрать недолго: все наше семейное имущество той поры свободно умещалось в одном чемодане. Другие же были заняты книгами, и в дороге эти огромные чемоданы по своей тяжести могли вызвать соблазн у любого вора!

А нужные книги я искал по всем ленинградским магазинам и, кажется, своими настойчивыми расспросами и тем, как жадно рылся в кипах старых медицинских журналов, изрядно намозолил глаза букинистам. Искал я книги по хирургии, которые бы помогли понять больного и поставить точный диагноз. Искал и те, в которых подробно описывались методика и техника операций. Ведь большинство операций, что ждут меня, я не только не делал, но даже не видел, как их делают. Слишком мало времени было отпущено мне на подготовительный период перед такой большой, желанной и одновременно пугающей работой!

И снова под несмолкаемый стук вагонных колес, в поезде, увозящем меня в край детства, было время крепко подумать: с чем же, как врач, я еду? Готов ли я к тому, чтобы уверенно стоять у операционного стола? Понимал, что надеяться могу лишь на самого себя...

Два года работы на участке ничего не дали с точки зрения хирургических навыков. Из неполных двух лет пребывания в клинике В. А. Оппеля я шесть месяцев провел на курсах, итого в активе чуть больше года обучения хирургии. Причем, как врач-интерн, я видел сравнительно много больных, которых надо было выхаживать, и почти не видел больных, которых надо было оперировать. Сам же за этот срок сделал полтора-два десятка самых простых, маленьких операций. Конечно, не сбросишь со счетов те теоретические занятия, что проводили с нами ассистенты, те лекции, что читали В. А. Оппель, Н. Н. Самарин. В диагностике, в понимании больного они – надежное руководство, а вот вопросы показаний и методики операций придется выяснять по книгам, которые, надрываясь от тяжести, тащу с собой за тысячи верст...

На станциях скапливалось много людей, нельзя было достать никаких продуктов. Металось страшное слово: «голод». Говорили, что где-то гнили овощи, мокло на снегу зерно, а люди пухли от недоедания. Сознание, что и я буду делить с народом его нелегкую судьбу, порождало гордость за себя, хотелось быстрее приехать на место и начать работу в больнице, лечить пока незнакомых мне больных, несчастных людей, живущих вдали от шумных дорог, совершенно не знающих о той большой медицине, к которой их земляк только-только прикоснулся!

И я увижу после долгой разлуки маму...

Глава VII

«Милый мой Киренск, я за годы нашей разлуки стал старше, а ты помолодел!..» Так я думал, со счастливым удивлением и понятной грустью разглядывая не забытые и в чем-то уже другие улицы родного города. Где былая тишина и вековая невозмутимость? Она взорвана строительным грохотом, испуганно дребезжат оконца темных от старости домишек: на месте бывшего затона пароходчика Глотов забивают сваи, сооружают судоремонтный завод, которому уже подобрано звонкое, в духе времени, имя – Красноармейский. А на площади вовсю гремит громкоговоритель, из его широкого раструба несутся бодрые марши и призывы и, конечно, новости со всей беспокойной планеты: с киренчанами говорит Москва. На здании клуба, который назван Народным домом, висит красочная афиша, приглашающая на встречу с ударниками производства.

И то, что Киренск всколыхнулся, как бы стряхнул с себя привычную дрему, и на его улицах стало много энергичных, очень деловых людей, и пионеры носят от дома к дому щит с надписью: «Пьянство – опиум для народа!», а девушки коротко подстрижены и ходят со стопками книг в руках – это тоже социализм... Это новый день, и он тут, в маленьком городе, почти поселке, затерянном среди таежных массивов, особенно заметен и радостен.

Я был назначен главврачом и хирургом межрайонной больницы водников. Больница обслуживала рабочих и служащих водного транспорта: вверх по Лене до Качуга – это восемьсот пятьдесят километров, и вниз до Олекмы – тысяча пятьсот километров. Ближайшее подобное медицинское учреждение отстояло за две с половиной тысячи километров – находилось в Якутске, и наполовину меньше было до Иркутска. В общем,

сибирские масштабы! И мы еще, помимо водников, принимали в больницу крестьян многочисленных прибрежных деревень. Так что скучать некогда было. Впрочем, я опережаю события...

В день приезда в райкоме партии, куда я пришел стать да партучет, мне сказали:

– Считайте, что лично для вас сейчас нет более важной партийной задачи, чем обеспечить надежную охрану здоровья людей. Приехали вы не на готовенькое, придется начинать чуть ли не с нуля, да еще многое исправлять понадобится...

Тут же я узнал, с каким нетерпением меня действительно ждали, и в особенности потому, что к моему приезду всю развернулись события, начавшиеся два года назад. А было так...

Заочно, по телеграфу, в Киренск пригласили, как сам он себя рекомендовал, «крупного хирурга» по фамилии Кемферт. Он дал согласие приехать и принять больницу при условии большого персонального оклада, что и было обещано ему Ленводздравотделом.

Путь из Иркутска в Киренск доктор Кемферт проделал с большой помпой. На все крупные промежуточные пристани посылал телеграммы, что едет знаменитый хирург. Его встречали, он походя давал консультации, лилось шампанское, и все увесистей от подношений становился багаж «знаменитости». И в Киренске он отрекомендовался как хирург с семнадцатилетним стажем, а еще и специалист по ухо-горло-носу, при этом мимоходом заметил, что широко известен в научных кругах. Стало ясно, киренчанам повезло так, как никогда до этого не везло, в самом Иркутске, пожалуй, будут завидовать: не у них Кемферт, а здесь!

В только что построенной больнице водников не было ни мебели, ни аппаратуры – одни кровати да кое-что из инструментария. Кемферта это не смутило, он не стал утруждать себя хлопотами по приобретению всего необходимого – сразу же приступил к операциям. Операционный стол заменяла ему обычная деревянная кушетка, а в ассистенты он назначил приглянувшуюся ему молоденькую девушку, работавшую до этого, кастеляншей.

К «выдающемуся специалисту» шли вереницей. И сам он любил быть на людях: каждую неделю в Нардоме читал «научные доклады», в которых рассказывал об удивительных случаях излечения им, Кемфертом, безнадежных больных. Такая самореклама, разумеется, на первых порах срабатывала безошибочно, и к Кемферту было доверие не только как к врачу – каждый считал чуть ли не за честь принять его за хлебосольным столом. Кемферт не отказывался.

Однако, когда феерический бум первых месяцев угас, Кемферт стал виден в деле, киренчане призадумались. И было от чего! Лечение, назначаемое новым врачом, не приносило облегчения, кое-кто при таких, сравнительно небольших операциях, как удаление грыжи, аппендицит, скончался под его ножом. Вызывало недоумение, что в операционную он никого, кроме кастелянши, не пускает, дверь держит на засове, и еще одну девушку приблизил к себе: из простых санитарок перевел ее на должность операционной сестры, хотя она вряд ли могла отличить скальпель от зажима.

Несколько позднее, когда уже стала известной личность хирурга, этот факт был следующим образом отмечен в местной стенгазете. Перед кушеткой, на которой лежит человек с разрезанным животом, стоит кастелянша с большим кухонным ножом в руке. И внизу подпись: «Ничего не видно, братики, окромя сырых кишков!»

К этому времени на должность заведующего Ленводздравотделом назначили доктора Ивана Ивановича Исакова, человека умного, образованного, беспокойного и добросовестного в работе (позднее он стал профессором кафедры терапии Института усовершенствования врачей в Ленинграде). Он с тревогой прислушивался к тому, что говорили о Кемферте, и решил сам разобраться, в чем тут дело, и, главное, так, чтобы не обидеть Кемферта своей подозрительностью. Побаивался, что до хирурга дойдут слухи, он оскорбится не на шутку и уедет, а огромный район опять окажется без специалиста.

Поначалу Иван Иванович побывал на «научном докладе» Кемферта и сразу понял: доклад этот – не что иное, как набор громких случайных и заумных фраз, явно выписанных из разных книг: докладчик, видно, сам туманно представлял то, о чем говорит с трибуны. Тогда заведующий Ленводздравотделом познакомился с операционным журналом и обнаружил в нем такие записи, которые мог сделать лишь человек, знающий медицину понаслышке. Исаков немедленно послал официальный телеграфный запрос в один из городов Западной Сибири, где до этого, судя по документам, работал Кемферт: «Подтвердите» и прочее... Ответ пришел не из Отдела здравоохранения, а из... прокуратуры. Сообщали, что авантюрист Кемферт, выдававший себя за хирурга, объявлен во всесоюзном розыске – для привлечения к судебной ответственности.

И я, как говорится, попал с корабля на бал: толком не приступив к своим обязанностям, должен был участвовать в следствии по делу Кемферта в качестве эксперта. Оказалось, что этот проходимец уже неоднократно судился за подобные аферы – многих людей он лишил жизни, многим искалечил здоровье. Он не имел никакой медицинской подготовки и, если верить его «чистосердечному признанию», когда-то лишь состоял в помощниках у ротного фельдшера. В Киренске Кемферт «прооперировал» около ста человек, из них двенадцать сразу умерли, а у других возникло послеоперационное нагноение ран и остались свищи.

Натворил он бед и как «специалист» по ухо-горло-носу. Амбулаторно делал больным операцию, состоящую в следующем: ножницами надрезал одну из носовых раковин – оттуда начиналось кровотечение. Тогда он через нос вставлял зонд Блелока, привязывал к нему тампон и протаскивал его через ноздри из заднего носового входа к переднему. Кровотечение останавливалось. Через несколько дней он извлекал тампон, и на этом месте теперь образовывалось сращение носовой раковины с носовой перегородкой. Налицо были все «атрибуты» – кровь, боль, тампоны, перевязки, и все это подкреплялось «учеными» рассуждениями. И если больному не становилось лучше (а ему, понятно, не могло быть лучше) и он продолжал верить «врачу», Кемферт делал ему такую же операцию, с другой стороны. Мне пришлось увидеть пациентов Кемферта, которые приобрели сращение носовой перегородки с носовыми раковинами с двух сторон, что очень затрудняло дыхание. В их числе были люди интеллигентные, разбирающиеся, казалось бы, в элементарных основах медицины. Один из них был учителем школы и свою доверчивость по отношению к Кемферту объяснял мне так:

– Он ведь, прохвост, чем нас брал? Красивой фразой! А сердце от красивой фразы сжимается, начинаешь сразу думать про иную жизнь, самому хочется говорить красиво, и вот таким манером, замороженный, плюхаешься в лужу. И лишь когда плюхнешься – тогда поймешь!

Трудно, особенно за давностью лет, оспаривать приговор суда, но и тогда, и сейчас этот приговор по делу Кемферта кажется мне неоправданно мягким. Дали ему, помнится, меньше пяти лет, а поскольку отбывал он наказание в Киренске, то мы узнали: «за примерное поведение» отпущен Кемферт досрочно, не отсидев и половины срока, Население было возмущено таким милосердием суда по отношению к человеку, на совести

которого только в Киренске двенадцать погубленных жизней и большое число инвалидов. Для сравнения припоминали случай с юношей, укравшим тридцать семь рублей, – ему киренские судьи дали пять лет.

Нужно было бы на том заседании суда послушать женщин, которые стали вдовами из-за преступных действий этого лжехирурга! Их слезы, вероятно, явились бы тем важным в судебном разбирательстве, даже решающим «вещественным доказательством», которое усилило бы меру наказания... А то ведь опять «щучку бросили в реку»: новый заведующий Ленводздравотделом рассказывал мне, что вскоре после выхода Кемферта на волю в Киренск поступил запрос: «Подтвердите, что у вас хирургом работал Кемферт». Тот, значит, снова взялся за старое. И позже я сталкивался с фактами, когда неучи выдавали себя за врачей, даже за хирургов, а скальпель – тот же нож, и человек, не умеющий им владеть, но бессердечно пробуящий его на теле другого, доверившегося ему человека, – потенциальный убийца. Так, по-моему, должен рассматривать самозванцев на медицинском поприще Закон.

Надеюсь, теперь понятно, какое наследие получил я, приняв под свое начало больницу водников. При первом же знакомстве с ней, только-только после обхода присел отдохнуть в кабинете, который предстояло обживать, как на мой белый халат из щелей двинулись полчища клопов. Видя, что тут пахнет гигантским сражением, я временно оставил поле боя, и уже на улице, примостившись на пенёчке, прикидывал: с чего начать... Знал: впрягся – отныне ни сна, ни отдыха не будет, пока больница не станет именно больницей! Необходимо добывать медицинские инструменты, операционный стол. Но что тревожило больше всего, – это отсутствие операционной сестры. Как без нее приступать к работе?

На другой день я и весь персонал больницы сменили белые халаты на рабочую одежду, вооружились вениками, ведрами, всем другим, чем можно было скоблить, чистить, уничтожить накопившуюся грязь. Провели полную дезинфекцию помещений, и тут же по моей просьбе из судоремонтных мастерских была прислана бригада маляров, штукатуров, слесарей-сантехников... Сделали реконструкцию операционного блока. Над потолком установили огромный бак, подсоединив его к «титану»: будет теперь у нас холодная и горячая вода! Из соседнего затона был подключен аварийный свет на случай выхода из строя основного. Наверное, и сейчас все такое в районных условиях дается нелегко, а тогда на дворе стоял, напомним, 1933 год, и любое незначительное техническое мероприятие вырастало в большую проблему.

Случайно узнал, что приехала в город и гостит у родных бывшая операционная сестра. Помчался в этот дом, отыскал ее, умолял прийти к нам хоть на три месяца, чтобы обучить профессии кого-либо из наших девушек, имевших за плечами лишь рокковские курсы. Дама оказалась строгой: при разговоре даже не предложила сесть, называла меня не по фамилии или по имени-отчеству, а молодым человеком, словно бы даже сомневалась, тому ли доверили работать главным врачом да еще хирургом. Но что была она первоклассной операционной сестрой, в этом я убедился на первой же операции. От ее строгих внушений плакала Дуся Антипина, которой наша нежданная спасительница помогала осваивать необходимые навыки. Жаль только, что учение у Дуси продолжалось недолго – ее наставница вскоре уехала, и мне самому пришлось завершать обучение нашей доморощенной операционной сестры: учить наматывать и готовить шелк и кетгут, учить названию хирургических инструментов и приборов, правильному поведению во время операции.

Позже мы дослали Дусю Антипину в Ленинград, чтобы она поработала там в клинике под началом опытной операционной сестры, и вскоре я имел превосходную помощницу, с

которой не знал забот все четыре моих киренских года. И правду говорят, что мир тесен. Уже после войны, сам укоренившийся житель Ленинграда, я вдруг нечаянно встретил Дусю на Невском проспекте. Оказывается, она давно живет здесь, по-прежнему операционная сестра в одной из городских клиник, и все у нее в жизни хорошо: любимая работа, любимый муж, умница дочь. Какими далекими, но славными всплыли в нашем разговоре киренские дни – вспоминались они с тем тихим сентиментальным чувством, которое не так уж часто приходит к нам и очистительно для сердца.

А тогда, в Киренске, было не до сантиментов. Даешь, помнится, инструкции старшей сестре, она кивает, а ты видишь: ведь половину не поняла, опять не будет сделано как нужно! И я следовал совету профессора Опеля, который учил, что при обходе больницы надо мыслить вслух. Заметил, что требуется устранить, переделать – тут же говорю об этом, не упуская ни единой мелочи, не откладывая ничего на завтра... Ежедневно проводил я такие обходы, обращая при этом внимание на санитарное состояние помещений. На виду у сделавших приборку в операционной я, прикасаясь носовым платком к предметам, находил, казалось бы, невидимую пыль: разочарованные сестра и санитарка начинали наводить чистоту заново. На первых порах, пока каждый не научился без подсказок четко выполнять свое дело, такое было необходимо.

Своими силами посадили у больницы свыше трехсот саженцев, которые прижились и уже на будущий год дружно зазеленели. Мне недавно написали, что и поныне шумит возмужавшей листвой больничный парк, и я очень рад, что всюду, где бы ни жил, остаются посаженные мною деревья.

Чтобы обеспечить больных мясом и молоком, мы создали свое подсобное хозяйство. Никто из персонала не освобождался от работы на этом внештатном участке, и, конечно, хирург Углов в вечерние часы и в выходные дни, надев перчатки, чтобы не повредить руки, участвовал в заготовке сена. Потребовались лошади – завели их тоже. Одну – небольшую сибирскую лошадку – купили специально для разъездов: летом верхом, а зимой на санках. Выйдешь другой раз из операционной глубоким вечером, усталый, подавленный, скажешь кучеру: «Прохор, запрягите Малышку!» – и летишь по снежной дороге, под морозными звездами, в синюю даль.

Эх вы, сани! А кони, кони!
Видно, черт их на землю принес!
В залихватском степном разгоне
Колокольчик хохочет до слез...

* * *

Конечно, меня помнили, и я за несколько лет разлуки почти никого не забыл. И в новом свете теперь виделась мне судьба земляков. Я уже для них был доктор, от меня ждали помощи, облегчения, сочувствия. «Ты же знаешь, Федор Григорьевич, как мы раньше жили, когда ты сам босиком бегал, шустрый такой был, в отца. Иль не поймешь нас?» И мне хотелось каждого понять, каждому быть полезным.

В один из первых дней пришли ко мне Степа Оконешников со своей матерью Иннокентьевной, и я с трудом узнал его: так он исхудал, такая печаль и мука были ни когда-то веселом, пышущем здоровьем лице. В юности, несмотря на разницу в годах – он был старше меня, мы дружили, много песен вместе перепели. И я с завистью смотрел, как вились

вокруг красивого, стройного Степы девушки, набиваясь на дружбу с ним. В шестнадцать – семнадцать лет почему-то было обидно, что самого природа высоким ростом не наделила.

А сейчас передо мной стоял больной человек, мало похожий на того, прежнего Степу. Вытирала концом платка слезы Иннокентьевна. И она – в тревоге за любимого сына – тоже сдала: не было прежней стати, дородности, румянца.

– Эх, Степа, – сказал я, чтобы как-то разрядить тягостную обстановку, – во сне, представляешь, снилось, как косили мы с тобой траву на монастырских лугах. Вот приехал – возьмешь снова в напарники?

Степа болезненно скривил губы и махнул рукой, ничего не ответив. За себя и за сына стала говорить Иннокентьевна. Печальный рассказ услышал я.

Как-то на масленице Степа из Хабарово, где стоит их дом, поехал к приятелям в Киренск на паре резвых лошадей, чтобы повеселиться, покатать парней и девчат на расписных санках. В Хабарово он возвращался поздно ночью. Чтобы было легче управлять, выпряг молодую пристяжную и привязал к санкам сзади. Впереди бежал верный пес Полкан.

Вдруг коренная лошадь дико всхрапнула, с крупной рыси перешла на галоп, и Степа, обернувшись, увидел в ночной темноте злые, фосфоресцирующие огоньки. «Волки» – обожгла догадка. Ох, какая досада взяла: почему не прихватил с собой, не сунул под сено берданку! Теперь вся надежда на лошадей...

Несколько раз настигали волки, но бегущая сзади лошадь копытами отбрасывала их назад, а глубокий снег мешал стае забежать сбоку санок, навалиться на лошадей со стороны или спереди. А кони мчали подобно ветру. Бедный Полкан на какой-то миг поотстал – и тут же был разорван в клочья голодной волчьей стаей. Всего на две-три минуты задержала гибель Полкана серых хищников, но Степа уже успел подлететь к крайним хабаровским избам – и ожесточенный лай деревенских собак, и яркие в ночи огни заставили стаю круто повернуть прочь... Утром, прихватив ружье, Степа с товарищами сходил к месту гибели собаки: лишь следы крови да редкие шерстинки остались на этом месте. С ужасом подумал он, что, не задержи волков Полкан, не миновать бы, возможно, ему самому дикой смерти в поле. И хоть смелый он был человек, но, как признавался после, с этого случая что-то стронулось в нем.

Несколько дней Степа плохо спал, а через два месяца стал замечать тупые боли под ложечкой. Сначала не придавал им значения, но боли становились невыносимыми, особенно после еды. Чтобы пригасить их, вставал на колени, долго пребывал в таком положении, клал на живот чулок, набитый горячей золой и солью, начал пить соду. На какой-то момент отпускало, а потом – все сызнова. Не помогали полученные в больнице лекарства. Правда, врачи советовали ему бросить курить, но Степа считал, что курение тут ни при чем.

Неожиданно в Киренск приехал доктор Михаил Герасимович Ананьев, ученик профессора Мыша. Измученный страданиями, Степа Оконешников тут же пришел на прием.

– Ты язву желудка, голубчик, нажил, – сказал ему доктор. – Надо резать!
– Лишь бы потом не болело, – и со всей присущей ему решительностью Степа согласился на операцию.

Нужно заметить, что Ананьев, как и его учитель, в то время был принципиальным сторонником анастомоза [анастомоз – соустье] между желудком и кишкой как метода лечения язвы желудка. Тогда многие хирурги придерживались подобной точки зрения, хотя в медицинской литературе уже появлялись тревожные сигналы, что после таких операций, если у оперированного высокая кислотность желудочного сока, часто возникают так называемые пептические язвы анастомоза, то есть такая же язва, что была на желудке, появляется на месте, где к желудку пришивается тонкая кишка. Больной снова подвергается ужасным болям, даже в большей степени, чем испытывал до этого, так как язва анастомоза часто проедает не только тонкую, но и толстую кишку. Новые свищи – новые страдания.

После выступления в печати Сергея Сергеевича Юдина, прислушавшись к его авторитетному голосу, большинство хирургов отказывались от подобной операции, перешли на резекцию желудка – более трудную, более опасную, однако исключаящую подобные осложнения. При резекции желудка кислотность снижается и условия для зарождения пептической язвы исчезают. Но все же многие хирурги, в том числе и из клиники профессора Мыша, упорно стояли на своем. И в Киренске Ананьев при операции у Степана Оконешникова наложил анастомоз между желудком и тонкой кишкой.

Степа, по словам его матери, снова ожил. Чуть ли не год чувствовал себя совершенно здоровым, наслаждаясь жизнью и радуясь, что теперь-то он возьмет свое: не соблюдая диету, жадно ел все, что было недоступно во время болезни. И – снова боли, иного, правда, характера, чем были раньше. Опять пришлось вспомнить про строгую диету, но боли, затихнув ненадолго, возобновлялись пуще прежнего. Ананьева уже в Киренске не было, а «доктор» Кемферт, с важным видом обещавший вылечить Степу, все оттягивал время, пока не стало известно, что он уже сидит за решеткой...

Сообщение, что в Киренск возвращается Федор Углов и будет работать хирургом, Степа встретил с радостью. Правда, его брало сомнение: у каких врачей ни был, куда только не ездил – не сумели помочь, а Федор, что ж, сильнее всех других?!

И вот Степа передо мной. Что должен был я сказать ему? Операция, в которой он нуждался, невероятно трудная и опасная. Ведь при пептической язве нужно сделать не только резекцию желудка, но вместе с желудком резецировать и подшитую к нему кишку. Удалив все это одним конгломератом, надо наложить новый анастомоз с оставшейся частью желудка. Некоторые хирурги решались на такую операцию, и у них она продолжалась по пять-шесть часов. При надежных ассистентах, в лучших клиниках страны! Мог ли я в Киренске дерзнуть на подобное?

Как только умел, утешал я Степу и Иннокентьевну. Назначил терапевтическое лечение: промывание желудка, строгую диету, грелки на живот, а главное – советовал запастись терпением. Я не отказал Степе в операции, но сказал, что для подготовки к ней требуются месяцы, нужно ждать. Степа протянул мне на прощание свою руку, и я почувствовал, какое у него безвольное рукопожатие, и некогда сильная, упругая ладонь сейчас была дряблой и потной. Всем своим видом он показывал, что разочарован нашей беседой, но твердо пообещал: мои предписания будут выполняться.

В последующие недели я прочитал всю доступную мне литературу по желудочным заболеваниям, проработал операцию резекции желудка на трупе, сделал несколько операций на собаках, хотя для этого в больнице не было никаких условий. Серьезным препятствием являлось то, что мы не имели наркотизатора и хорошего наркоза. Я знал, что операции на желудке следует делать под местной анестезией, и понимал в то же время: если при наложении анастомоза обычной местной анестезии достаточно, то при резекции

желудка, которая продолжается несколько часов, ее необходимо дополнить анестезией солнечного сплетения. Значит, надо овладеть методикой такой анестезии!

В эти дни моих мучительных размышлений привезли одного больного, машиниста парохода, у которого я обнаружил опухоль желудка. Подозрение было на рак. Вот она, первая в моей жизни операция резекции желудка! И делал я ее, хотя и старался совладать с собой, как в тумане. А может, так казалось мне после. Пять часов лежал больной на операционном столе, и я, как на исповеди, могу сказать: поначалу не был уверен, что все исполнил правильно, что все сшил, как нужно. Однако, как потом выяснилось, не напортачил ни в чем, машинист поправился. Позже, встречаясь на улицах Киренска, он не раз уговаривал меня зайти к его теще отведать какой-то удивительной настойки, приготовленной на таежных травах, и, по-моему, так и не поверил, что хирург спиртного в рот не берет, посчитал, наверное, что я «побрезговал».

Следом за машинистом я оперировал больного с язвой желудка, и эту операцию, продолжавшуюся три с половиной часа, делал уже осознанно, продумав все до мелочей. А так как больных у нас было много, я иногда стал делать по две резекции желудка в день. Появилась уверенность, и, осмелев, я не отказывал в операции слабым больным, доведенным приступами язвенной болезни до последней стадии истощения и обезвоживания.

Вспоминаю одну женщину прямо-таки гренадерского роста, но весившую всего то ли тридцать шесть, то ли тридцать восемь килограммов. Она высохла, как мумия. Не только оперировать, к ней прикоснуться-то было страшно! Но как откажешь в операции, когда буквально через неделю-другую она может погибнуть от истощения? Стали готовить ее к операции, стремясь вначале добиться некоторого улучшения физического состояния внутривенными вливаниями физиологического раствора и переливанием крови.

Операция стоила нервов. Рубцевой стеноз привратника делал крайне затруднительным подход к двенадцатиперстной кишке, а кишку нужно было освободить от спаек, не повредив при этом поджелудочной железы. Попытки же отделить желудок вызывали обильное кровотечение... Провозившись час, я все же отошел от поджелудочной железы, пересек и с гарантией ушил культю кишки тремя рядами. После этого резецировал желудок, подшив к его культе тонкую кишку точно так, как это рекомендовано в учебнике Верещинского – одного из учеников Н. Н. Петрова. На все понадобилось четыре часа. И уже через год эта, казалось бы, безнадежная больная, придя на осмотр, с гордостью демонстрировала нам, как она выразилась «свои округлости», – прибавила в весе на тридцать килограммов.

Мне было ясно: такого рода операции без переливания крови невозможны. Однако до этого в наших краях никто из врачей переливания крови в местных больницах не производил. А как делается оно – я знал детально: в клинике Оппеля и на курсах по специализации сам несколько раз переливал кровь тяжелым больным, научился определять, какой она группы. Лишь бы была сыворотка для такого определения, да доноры бы имелись!

Смелость, говорят, города берет, и предприимчивость – не последнее дело в достижении цели. И я написал письмо в Ленинград, в Институт переливания крови, где когда-то учился на курсах, и попросил лично Антонина Николаевича Филатова прислать мне несколько ампул сыворотки для определения группы крови. Я видел уже тогда, что это умный, добросердечный человек, с великолепными задатками ученого, – неужели откажет он в просьбе своему недавнему курсанту?

Посылка с сыворотками и необходимыми инструкциями пришла быстро. Оставалось теперь организовать донорскую службу. И мы с Верой Михайловной направились на рабочие предприятия, в учреждения, провели беседы о необходимости переливания крови больным, о том, что быть донором почетно, причем это никоим образом не отразится на собственном здоровье. Добились разрешения вести оплату донорам из средств, вырученных нами за платные аборт, которые в ту пору были разрешены. В общем, дело сдвинулось! Создали донорский отряд, доноров вызывали в больницу по мере надобности, иногда даже в ночное время, в зависимости от того, какая у кого группа крови и в какой нужда была именно в этот день. Разумеется, это создало предпосылки для проведения более крупных операций, таких, как тотальная резекция желудка и резекция при пептической язве.

Однако Степу Оконешникова я продолжал держать на расстоянии, под различными предложениями тянул время, чтобы больше накопить опыта. Иннокентьевна даже попеняла моей матери: всех, кого попало, «режет» Федор, а вот про Степу забыл...

В наших местах была распространена зубная болезнь. Еще с детства пугающе запомнилась мне женщина, у которой зуб свисал едва ли не до середины груди. Естественно, ко мне в больницу потянулись больные с зубом. Пришлось опять призвать на помощь книги: в клинике Опделя эти болезни встречались редко, и ни одной такой операции я не видел. Больные с небольшими зубами, которые я попытался удалить, излечивались. Самое трудное было в том, чтобы не повредить гортанный нерв, не лишить человека голоса. Но имеющий в руках нож когда-нибудь да обрежется!

Как-то поступил больной с большим зубом. Если ему приходилось ложиться на спину, он тут же начинал задыхаться: зуб давил на трахею и на сосуды шеи. Я сказал ему, что операция, безусловно, показана, так как зуб будет продолжать расти, но эта операция связана с риском для жизни. Больной, посоветовавшись с близкими, выразил согласие.

Сама по себе операция по удалению большого зуба сложна и требует исключительной точности: шея богато снабжена кровеносными сосудами, к щитовидной железе, которую предстояло удалить, подходят крупные артерии – их нужно осторожно обойти, перевязать и пересечь. Если произойдет ранение одного из сосудов или – тем более – отрыв его от крупного сосудистого ствола шеи, начнется обильное кровотечение, справиться с которым не так-то легко.

В данном случае зуб был, напоминая, значительных размеров, сосуды крупные, и я, перевязав четыре сосуда, упустил из виду наличие пятой артерии, проходящей как раз в середине шеи к перешейку щитовидной железы. Да еще допустил неосторожность: когда пытался отделить среднюю часть железы, надорвал довольно крупный сосуд! Еле-еле остановил кровотечение.

Закончив наконец операцию, как обычно с введением в рану дренажа, я уложил больного в послеоперационную палату, а сам снова пошел к операционному столу. Не помню, сколько продолжалась очередная операция, знаю только, что когда я вернулся к первому больному, увиденная картина заставила меня похолодеть. Больной находился на кровати в полусидячем положении, обложенный подушками, с мертвенно-бледным лицом, но в сознании, из-под его шейной повязки на постель, а оттуда на пол обильными струйками стекала кровь. По обе стороны кровати уже образовались красные лужи...

Немедленно перенесли больного в операционную, я снова раскрыл рану, сильно кровоточащую в глубине, и, поскольку все ткани уже были пропитаны кровью, немалых

трудов стоило обнаружить, захватить и перевязать злополучный сосуд. Делалось все в спешном порядке, я нервничал... и опять допустил ошибку! Забыл про гортанный нерв, и, когда останавливал кровотечение, он, по-видимому, попал в лигатуру. Наступил односторонний паралич его с потерей голоса. Больной стал быстро поправляться, рана затянулась гладко, однако теперь говорил он шепотом. Правда, со временем голос разработался, но навсегда остался слабым и хриплым, и я сильно мучился из-за своего промаха, доставившего такие неприятности человеку!

А жизнь продолжала ставить перед молодым хирургом все новые и новые сложные вопросы. Воссоздавая сейчас в памяти то время, снова и снова готов говорить похвальное, благодарственное слово книгам! Всегда они были моими первыми помощниками и советчиками, в них я черпал силу и уверенность в часы невольного отчаяния, при решении запутанных проблем, когда никто другой не мог мне помочь. Книги, которые я привез с собой, с такой тщательностью подобранные в Ленинграде, превратились в неоценимое богатство. Они стали моими советниками и консультантами, друзьями при успехе и судьями при ошибках...

Как изменилось мое отношение к книгам! Когда был студентом и даже в пору моих занятий в клинике под руководством наставников, я считал, что почти все авторы излишне многословны: все можно изложить короче, без повторения похожих подробностей. Теперь же, когда все вопросы приходилось решать без подсказки со стороны и на все неясности ответ искался только в книгах, я уже сетовал, что авторы склонны излагать все в общих чертах, скупы па детали, а как важны самые мельчайшие подробности!

При подготовке к типичным операциям незаменимыми были руководства по оперативной хирургии и топографической анатомии Шевкуненко, а также Вира, Брауна, Кюмеля. А для развития широкого кругозора и клинического мышления, для воспитания способности быстрой ориентировки, умения сопоставлять факты и строить убедительную теорию диагноза помогало чтение монографий самых различных авторов, их научных статей. Все это в сочетании с напряженной практической работой незаметно прививало то, что называют интуицией врача. И мне думается, что врачебная интуиция – это совокупность глубокой эрудиции, широкого кругозора, клинического мышления с индивидуальной способностью быстрого анализа наиболее важных решающих фактов. Я встречал немало хорошо образованных людей, способных до деталей проанализировать явления, но не обладающих даром синтеза. Они не умеют из груды фактов выделить наиболее важные, не могут второстепенные явления оторвать от первоочередных, и в результате, если они врачи, из бесчисленного множества симптомов различных заболеваний не в состоянии выделить те, по которым можно поставить правильный, во всем точный диагноз.

В Киренске мы с Верой Михайловной не могли себе позволить расслабиться, искать время для отдыха. Впервые я понял, какая громадная нагрузка и ответственность ложатся на специалиста, когда на сотни верст вокруг нет его коллег... Нередко приходилось не выходить из больницы с рассвета до рассвета, и не было сил дойти до дома: прикорнешь час-другой на казенной кушетке, ополоснешь лицо холодной водой и снова за дело...

Вера тоже много работала в больнице, а свободные часы отдавала детям. Хорошо, что с нами в то время жила мама. Она всю работу по дому и заботу о нас брала на себя, создавая тот уют, без которого невозможна плодотворная работа. Бывало, чуть занеможет или случатся неприятности, мама уже около меня, то грелочку даст, то посоветует больное место «денатуратиком» натереть – ее излюбленный метод лечения. А то станет приводить из жизни факты, где справедливость обязательно торжествует. Я любил мамины разговоры.

Они всегда были проникнуты любовью к людям и верой в справедливость. «Ложь и зло на коротких ножках ходят, а добро живет долго», – говорила она. От таких ее слов легче становилось на душе, быстрее забывались невзгоды.

Нельзя сказать, что все шло благополучно, без душевных встрясок, без крупных ошибок с роковыми исходами, когда не всегда можно было понять, из-за недостатка знаний это произошло или из-за чрезвычайно запущенной болезни, при которой и правильная тактика врача не давала возможности спасти больного.

Однажды рано утром ко мне домой позвонила дежурная сестра и сказала тревожно: принесли задыхающегося ребенка. Когда я прибежал в больницу, то увидел на руках у матери посиневшего младенца нескольких месяцев от роду. Или дифтерит, или ложный круп... При подобных обстоятельствах спасти жизнь больного можно, если, не медля ни минуты, наложить трахеостомию. «Буду оперировать!» – сказал я родителям. Они согласились неохотно, но ребенка отдали. Конечно, нужно было потратить еще минут-другую, чтобы объяснить родителям всю сложность и опасность ситуации, полную безнадежность состояния ребенка без операции и огромный риск ее. Но я этого не сделал. Для спасения ребенка важна была каждая минута. Скорее в операционную!

Тот, кто в своей жизни делал или видел, как делают трахеостомию задыхающемуся ребенку, поймет меня. Я вынужден был оперировать без ассистента, помогала лишь операционная сестра, и не было ни времени, ни возможности дать ребенку наркоз или сделать хорошую анестезию. В распоряжении хирурга были считанные минуты. Нужно было через разрез на шее обнажить трахею, вскрыть ее и в отверстие вставить специальную трубочку.

От того, что ребенок задыхался, трахея непрерывно двигалась вверх и вниз – удержать ее было почти невозможно. Рана кровоточила, затрудняя мои действия. Вдруг трахея вовсе перестала прощупываться, а идти скальпелем глубже было опасно: легко можно поранить крупные сосуды, и тогда – смерть. Кое-как обнажил трахею, но она из-за ее непрерывного движения выскользнула из пальцев. Удалось, захватив ее на какой-то момент острыми крючками, сделать разрез, воздух с шумом вырвался наружу, выбрасывая слизь и засохшие корочки. Надо было вставить в разрез трубочку, однако трубочек нужного размера под рукой не имелось. Не было у нас и специального инструмента для расширения отверстия. Когда я применял усилие, чтобы трубочка вошла, начиналась отслойка слизистой трахеи, а я знал, чем это грозит... Состояние ребенка оставалось тяжелым.

Как только мне все же удалось вставить трубочку, у ребенка начало сдавать сердце. Сыграли свою роль токсические явления, сопутствующие запущенной дифтерии. Действие дифтерийных токсинов приводит к раннему развитию дифтерийного миокардита, который часто и является причиной гибели ребенка. А в этом случае нельзя было сбрасывать со счетов продолжительность операции, из-за которой происходило дополнительное кислородное голодание мышцы сердца.

Я вышел из операционной совершенно обессиленный, с ощущением громадной нервной перегрузки, хотя вся операция заняла, оказывается, около получаса. Но некогда было думать о себе: все внимание ребенку – поднять его сердечную деятельность! Как могли, что имелось в нашем распоряжении – немедленно применили, но спасти ребенка не удалось. И только когда убедился, что все кончено, вспомнил о родителях, ужаснулся, как скажу им, что их маленького уже нет в живых...

Родители реагировали бурно, чуть ли не за грудки меня хватали, и я не вправе был обижаться: ими двигало горе. Отец ребенка, не удовлетворившись моими объяснениями, кричал, что у него брат служит в милиции, они не простят мне «убийства», упекут под суд. И как я узнал позже, они действительно жаловались прокурору, но, поскольку тот знал, как одержим я в работе, бережно относился ко мне. Настоящий партиец, он при подобных недоразумениях приглашал моего начальника, Ивана Ивановича Исакова.

Такое бывает не везде...

* * *

Увлеченный любимой специальностью, желанием помочь страдающим людям, я, если узнавал, что где-то живет больной, разуверившийся в медицине, просил обязательно показать его мне. Иногда, выяснив, где его дом, ехал туда сам, убеждал лечь в больницу. И не ради хвастовства замечу: мне порой удавалось излечить тех, кого другие врачи находили уже безнадежными.

Однажды мама сказала мне:

– Феденька, а ты помнишь Наташу Патрушеву? Степана Патрушева дочку?

– Как же, красавица, пела хорошо...

– Несчастье с ней большое, – вздохнула мама. – Бог весть во что превратилась ее бывшая красота. Встретишь – не узнаешь.

И я услышал драматичную историю Наташи, случившуюся с ней за время моего отсутствия в Киренске...

Высокая, стройная, с тяжелыми косами, перекинутыми на грудь, Наташа Патрушева была в Чугуево первой во всем – по красоте, в работе, когда выходили в поле или на сенокос, в хороводе, где ее высокий голос выделялся среди самых сильных и звонких. Когда я видел ее, невольно вспоминал некрасовские стихи:

Есть женщины в русских селеньях
С спокойною важностью лиц,
С красивой силой в движеньях,
С походкой, со взглядом цариц...

Вышла замуж она, к удивлению чугуевцев, за чужака, как было когда-то и с моей матерью, за Андрюшу Антипина, который после работы на Бодайских золотых приисках приехал в Чугуево погостить к приятелю. Сам он был из деревни Змеиново, что стояла в двенадцати верстах от Киренска. Он увез Наташу к себе, и скоро у нее родился сын, а через два года – дочь.

Счастливой была жизнь Наташи и Андрея. Они ходили всюду вместе, словно боялись расстаться хоть на час, не обращая внимания на чьи-то завистливые насмешки: уже детей народили, а держатся за руки, как парень с девушкой! Андрей был ниже ростом, но она с такой любовью и гордостью во взгляде шла, бывало, рядом с ним по улице, словно возле нее сам Бова Королевич... И в хозяйстве у них все ладилось. Свекровь, и та в невестке души не чаяла.

Была Наташа беременна третьим ребенком, когда, забывшись, подняла мешок с зерном. Заныла вдруг поясница, появились сильные боли со схватками внизу живота. Две недели пришлось пролежать в постели, и, хотя боли прекратились, недомогание осталось. Да не было уж прежней силы и ловкости в работе. Чуть что возьмет потяжелее, боли снова, а то и кровотечение начнется. Сама-то крепится, виду не подает, а Андрей закручинился. Запряг лошадь и повез Наташу в Киренск, в городскую больницу. Дорога была мучительной для Наташи.

В то время в городской больнице работал хороший хирург – П. Г. Филатов. Посмотрел больную, определил, что носит она мертвого ребенка, назначил на экстренную операцию – кесарево сечение. Операция оказалась сложной для хирурга и тяжелой для Наташи: обнаружили приращение последа, пришлось его долго отделять. Это вызвало большую потерю крови у больной, и Филатов постарался скорее зашить рану, чтобы снять женщину со стола живой. Закончив операцию, начал бороться за ее жизнь. Несколько недель пролежала Наташа в больнице: было нагноение раны, разошлись швы. Хирург еле-еле предотвратил развитие перитонита. Ослабевшая, похудевшая, вернулась Наташа домой, и радостная, что опять все вместе – муж, дети, она!..

А вскоре у Наташи на месте разреза образовалась послеоперационная грыжа значительных размеров. Как ни перевязывала она себе живот, как ни бинтовала его, грыжа росла не по дням, а по часам. Вскоре Наташа уже ходила, как беременная на последнем месяце, а выпавшие в грыжевой мешок петли кишок ущемлялись, вызывая непроходимость кишечника. Стала Наташа приглашать к себе бабку-знахарку: та помнет живот, погладит – вроде бы легче сделается. Но с каждым месяцем приступы становились затяжнее и невыносимее. А живот вырос так, что не только со стороны, самой смотреть на него было страшно.словно огромный камышинский арбуз привязали ей внизу живота... Опять поехали они с Андреем к Филатову.

Посмотрел Филатов Наташу, задумчиво походил по кабинету и решительно сказал, чтоб возвращались в свою деревню, никакой операции делать нельзя, недопустимый риск: очень много внутренностей выпало в грыжевой мешок, вряд ли их вправишь на место. А если и удастся вправить, то где гарантия, что швы вновь не разойдутся? Филатов добавил, как в утешение, что у него у самого печень болит, приходится тоже мучиться, а что поделаешь? Нужно терпеть и даже в страдании радоваться, что живешь на белом свете...

Но какое уж тут утешение! С ощущением безнадежности, безвозвратно пропащей жизни вернулась Наташа домой, и этот дом, некогда веселый, шумный, песенный, гостеприимный, теперь словно беспросветная тьма окутала. Наташа стала затворницей, на глаза людям не показывалась. Живот продолжал угрожающе расти, было уже тяжело ходить, никакую работу делать не могла. Появилась у нее раздражительность и плаксивость... Казалось, что муж из-за уродства больше ее не любит. И когда он по делам уходил из дома, ей чудилось, что он у соперницы. Андрей терпеливо сносил ее ревнивые придирки, утешал, как мог, понимая, что прежний легкий, милый характер Наташи испортила злая болезнь.

Даст бог, все хорошее еще вернется в семью – они молоды, не успели даже пожить...

Потом в Киренске появился доктор М. Г. Ананьев. Он больше часа внимательно осматривал Наташу и, вздохнув, сказал, что в здешних условиях такой операции не сделать, да вряд ли кто возьмется за нее даже в клинике. Слишком большой риск.

– Риск, риск! – вся в слезах воскликнула Наташа. – Я ведь согласна! Лучше умереть, чем жить в мучениях и на посмешище людям! Я расписку, доктор, дам, что если случится чего не так, вас никто винить не станет. Вот и муж здесь, он тоже подпишет. Правда, Андрюша?

Ананьев головой покачал: нет, нет и нет!

Была еще одна поездка к врачу – теперь уже не к простому, а, как говорили все, к «знаменитому», только что приехавшему в Киренск. То был, разумеется, Кемферт. Даже его не русская фамилия внушала уважение: может, учился он за границей, где, пожалуй, учат лечить лучше, чем у нас? Но «доктор» Кемферт принял их холодно, был невнимателен, говорил туманно и высокомерно, а под конец, отказав в операции, отпустил в адрес Наташи плоскую, оскорбительную шутку. Наташа возненавидела и этого доктора, и всех других, уверилась, что спасенья ей нет, стала угрюмой, молчаливой, замкнулась в себе. И когда я прибыл в Киренск, она не стала обращаться ко мне, хотя и знала меня хорошо – наши семьи издавна были знакомы между собой.

Услышав грустное повествование о Наташиной судьбе, я, конечно, понял, чего мама хочет от меня.

Всю жизнь с детства, я слышал от нее: «Федя, старайся делать людям добро. От этого им легче и сам делаешься чище. Да и такое оно, добро: сделал его в одном месте, оно возвращается к тебе в другом, когда и не ждешь совсем...» Милая моя мама, ты сама была воплощением доброты и долготерпения, как большинство простых русских женщин, чья душевная забота всегда согревала их детей. Это матери дают своим сыновьям силу и уверенность, это они стоят у начала любого человеческого подвига, их голоса навечно закрепляются в сыновних сердцах...

В Киренске мать видела, как я живу, как работаю, ее глаза ласково смотрели на меня, и было бы горько заметить в них печаль или грусть, вызванную мною... И теперь мама как бы говорила: протяни руку несчастному человеку! На следующий день, после операций по поводу зоба и холецистита, убедившись, что больные чувствуют себя хорошо, я попросил Веру Михайловну подежурить возле них, а сам с мамой в санках, на Малышке, вечером выехал в Змеиново. Завернувшись в тулуп, я правил лошадь, с наслаждением вдыхая свежий морозный воздух, а мысли были об одном: почему отказываются оперировать Наташу? Неужели нож противопоказан, и я тоже вынужден буду отступить?... А как было бы хорошо вернуть ее к житейским радостям!

Двенадцать верст пролетели незаметно. Вначале погрелись за чаем у одних старых знакомых, а потом пошли к Антипиным. Они уже знали о нашем приезде в деревню, надеялись, конечно, что мы не обойдем их, ждали. Встретили степенно и уважительно, ни словом не обмолвились о своих бедах. Наташу действительно было не узнать: прекрасное лицо стало бесцветным, со страдальческими складками у горестно поджатого рта, и в глазах стыли невыплаканные слезы. Широкое, без пояса, платье скрывало ее фигуру, и все же живот, натягивая его, безобразно выступал далеко вперед.

На столе появились сибирские пельмени, и в разговорах за ними о том о сем незаметно пролетел час. Тут мама, ободряюще взглянув на Наташу, сказала:

– Я вчера своему Феде говорю: Наташа тебе хочет показаться, да плохо чувствует себя, не может приехать! А он мне в ответ: а у нас как раз лошадь застоялась, давай сами к Антипиным прокатимся, чай, не совсем чужой я для них... И впрямь: сколько лет-то дружили!

Наташа смутилась. Она понимала, что моя мама специально говорит так, чтобы облегчить возникшую неловкость, закрыть ей, Наташе, путь к отступлению. Ответила она тихо:

– Большое спасибо вам, да вряд ли нужно беспокоить Федю. Уже никто мне не поможет...

Губы ее задрожали, она, не совладав с собой, разрыдалась, уткнувшись лицом в мамино плечо. Мама гладила ее по волосам и тихо приговаривала:

– Ну что ты, Наташенька, не плачь. Федя поможет, он для тебя постарается. Ты же знаешь, как он любил твои песни слушать, влюбленными глазами на тебя смотрел... То-то молодой был, а так бы, смотришь, раньше Андрея к тебе посватался... Не плачь!

Я попросил разрешения осмотреть больную и, уйдя в другую комнату, тщательно обследовал ее. Не скажу, что без колебаний, но все же твердо решил: за операцию возьмусь! Наташа сначала не поверила, думая, что я говорю так, чтобы ее успокоить, а убедившись в серьезности моего заявления, снова разрыдалась... Условились, что она приедет в больницу и там будет определен срок операции.

После этого мы еще немного посидели за столом, затем мама, зная, что я беспокоюсь о своих больных, заторопилась в обратный путь. Малышка была накормлена, отдохнула, резво взяла с места. Антипины стояли на дороге и смотрели нам вслед. Я был в отличном настроении, вспоминая, какую радость смог вызвать в душе Наташи и Андрея, как светились этой радостью их глаза... И где-то далеко-далеко ворошилась тревога за исход намеченной операции: по силам ли ношу взвалил на себя?

А через три дня Наташа была уже в больнице, и мы с Верой Михайловной, неизменным моим ассистентом в тот период, стали готовить ее к операции. Приучивший себя с юности не тратить понапрасну время, я торопился: потерянные дни не возвращаются. Опять с головой ушел в книги, и чем больше читал, тем сильнее одолевали сомнения. Почти все авторы указывали на многочисленные осложнения при больших послеоперационных грыжах, которые не только сводили на нет весь труд хирурга, но нередко создавали угрозу для жизни больных.

Те из хирургов, кому попадутся на глаза эти строки, отнесутся, может быть, весьма скептически к моим переживаниям и сомнениям той поры. Мне и самому сейчас они кажутся чересчур преувеличенными. Однако необходимо сделать поправку на время: ведь в середине тридцатых годов любая резекция, даже ранение толстого кишечника, являли собой серьезную опасность для жизни человека, – подобные операции были в процессе освоения, поисков. У больной с огромной грыжей, когда в грыжевой мешок вместе с внутренностями попала значительная часть толстого кишечника, возможность его повреждения при операции была реальной, и хирургу было от чего поволноваться! По сей день к нам в клинику поступают больные, многие годы живущие с подобными и другими, отравляющими их существование недугами, при которых хирурги лишь разводят руками... А тщательное исследование заболевания Наташи показало к тому же, что выпавшие петли кишок прочно припаяны к коже грыжевого мешка и отделить их будет не просто.

Опять же вопросы методики такой операции в литературе решались по-разному. Способов предлагалось много, но ни один из них не гарантировал, как во всем надежный. Наоборот, подчеркивалось: процент неудач при каждом методе высок. А тут, принимая во

внимание необычные размеры грыжевых ворот, успех казался менее возможен, чем неудача. Страшно было подумать о том, что операция не получится. Если не удастся избежать ранения толстого кишечника, может быть перитонит со смертельным исходом. Если операционное вмешательство не даст результатов, грыжа образуется снова, и Наташа еще сильнее будет мучиться сама и мучить близких... А тут еще пугают размеры грыжевого кольца: не меньше двенадцати сантиметров в диаметре! Как стянуть края такого отверстия? Какие швы способны выдержать натяжение, возникающее при сшивании раны?

Обдумав все имеющиеся «за» и «против», я решил, что лучше всего применить способ ушивания грыжевого отверстия по Напалкову. Его сущность в том, что после иссечения грыжевого мешка сшиваются внутренние листки прямой мышцы живота, вторым же слоем сшиваются наружные листки, и на месте грыжевого кольца остается заслон из мышц, а не из рубцовых тканей. Я старался в подробностях припомнить такую операцию: когда-то видел, как в клинике Опделя проводил ее сам Павел Николаевич Напалков, правда, не при большой грыже...

Переживала, беспокоясь за Наташу, за нас с Верой Михайловной, мама. Советовала не спешить, следовать мудрому правилу: семь раз отмерь – один отрежь... Но я уже говорил: подготовка подготовкой, а впустую тратить время было не в моих правилах. Ведь кроме Наташи, в больнице находились другие тяжелые больные. И я назвал день операции.

– Наташа, – сказал я ей, – ты полежала, отдохнула, пора, что ли?

– А для меня, Федя, другого пути нет: или на тот свет, или здоровой домой вернуться, – твердо ответила она. – Я на тебя, как на брата, полагаюсь.

– Ладно, договорились, – старался я отвлечь ее от плохих мыслей. – Уж я к тебе потом снова на пельмени приеду, не поскупись, чтоб мне одному миска с верхом была!

– Федя, – вдруг тихо сказала она, – а ты ведь тоже боишься...

Хотел возразить, но вряд ли это получилось бы у меня, и я только положил свою руку на ее: не волнуйся, все будет, как надо.

...Сделав хорошую местную анестезию, окаймляющем овальным разрезом обошел весь грыжевой мешок у основания, вскрыл его с великой осторожностью в свободном от спаек месте. Оказалось, как и предполагал: петли толстой и топкой кишок прочно припаяны к старому операционному рубцу, а кроме того, из-за частых ущемлений припаяны к самому кольцу... Было от чего ощутить холодок в позвоночнике! Разделить все эти спайки, пересечь рубцы, не поранив рубцово-измененной стенки кишечника – задача не из легких. Все внимание сосредоточил на том, чтобы не ошибиться в тканях, не сделать ненужного разреза или разреза недопустимой глубины. Ведь здесь расстояние измерялось миллиметрами, и малейшая ошибка могла стать роковой.

Наконец все петли кишок и сальник были освобождены и вправлены в брюшную полость. Я знал, что мне ни на секунду нельзя позволить себе расслабленности или даже мимолетного успокоения. Вновь провел дополнительную анестезию, чтобы предупредить невольное напряжение мышц живота. Случись это – и опять выпадение внутренностей, новые трудности в ушивании грыжевого кольца. Но пока все шло предусмотренным порядком, и где-то в глубине сознания далекой искоркой промелькнула даже такая мысль: «Сложно, конечно, однако вполне доступно, не часто ли отказывают больным, где не нужно отказывать?» Ушил грыжевое кольцо, создав на его месте двойную белую линию и

напалковский заслон из прямых мышц живота, а в самом конце операции, продолжавшейся около двух часов, наложил большой аккуратную круговую повязку – для ослабления напряжения краев раны.

Наташа держалась превосходно: сказался характер. Не услышал от нее ни стоны, ни жалоб на боли. А когда вышел из операционной, увидел устремленные на меня черные глаза Андрея Антипина, показавшиеся мне дикими, чуть ли не безумными. Он схватил меня за руку:

– Как?

– Нормально, успокойся...

Не выпуская моей руки, бормоча что-то под нос, он потащил меня за собой во двор. Там возле распряженной лошади стояли его сани. Он покопался в них и вытащил ружье:

– Вот...

Я ничего не понимал. Знобкий ветер охватывал мою мокрую от пота рубашку. Все, как бывает после огромного душевного напряжения, виделось контрастно: чистый снег, белесое небо, черные вороны на заборе, заиндеветшая лошадь изумляли своим спокойным видом, своей невозмутимостью.

– Вот, – бормотал Андрей, показывая на ружье, – с собой привозил...

– Ну и ну! – сказал я, и мне чуть ли не до слез стало обидно. – Это, значит, привез, чтобы меня пристрелить, да? Случилось бы что с Наташей, и ты бы меня!

– Нет, – крикнул Андрей, – нет, это я себя хотел... Один бы тогда конец – и ей, и мне!

– Все равно дурак, – сказал я ему и, ощутив озноб уже во всем теле, пошел со двора в тепло.

А спустя три месяца Наташа и Андрей приехали к нам домой. Наташу словно подменили, а вернее, возвратилось к ней все ее прежнее. Помолодевшая, стройная, она опять стала жизнерадостной, веселой, ее искристый смех звенел в комнатах серебряным колокольчиком... Она низко, в пояс поклонилась мне и, бросившись на грудь, стала покрывать меня поцелуями. Смущенный Андрей пожал мне руку со словами:

– Никогда наша семья не забудет про это... Наташа стала рассказывать моей маме, что недавняя болезнь кажется ей теперь кошмарным сном. Сейчас она, как все, хоть работать, хоть плясать. Боли прекратились, пока опасается поднимать тяжелое, но чувствует себя способной горы своротить, соскучилась по настоящей жизни! А мама смотрела на меня и тихо улыбалась. Она считала, что я просто постарался для человека, как и должен всегда стараться.

* * *

Если при проведении плановых операций у меня все же было время подготовиться к ним, то несравненно больше волнений и забот доставляли операции экстренные. Тут каждая

минута на счету, опоздание равносильно смерти больного, и при постановке диагноза в книгах рыться некогда!

Когда спешишь в больницу по срочному вызову, имеешь самое смутное представление о том, что тебя ждет. Дежурная сестра скажет, что привезли тяжелого больного с болями в животе или груди, что доставили раненого в голову, что у женщины или ребенка хлынула кровь из горла, и ты бежишь оказывать помощь, лихорадочно припоминая все возможные при этом варианты заболеваний и травм... Кроме того, ведь никогда не знаешь, когда именно понадобится твоя помощь! Ты всегда, в любой момент, днем или ночью должен быть готов к этому. И никого не интересует, здоров ли ты сам, сыт или голоден, хорошее у тебя настроение или плохое, рабочий у тебя день или заслуженный выходной, успел ли ты отдохнуть после утомительных операций или не было ни минуты для этого... Ты врач: иди и помогай больному!

В Киренске был в моей врачебной практике такой случай... Я лежал в постели с острыми, не отпускающими болями в животе. Такое бывало со мною время от времени как следствие перенесенного брюшного тифа. Вдруг звонок от дежурной сестры: привезли тяжелую больную, она почти без сознания, и тоже боли в животе! Я попросил Веру Михайловну срочно отправиться в больницу – она гинеколог, а также терапевта Ивана Ивановича, и буквально на подламывающих ногах добрался туда сам. Диагноз был неясен: то ли перитонит, то ли внутреннее кровотечение. Все трое помылись, подготовились к операции. С большим трудом я сделал разрез. Внематочная беременность! Поручив гинекологу и терапевту закончить операцию, я, невыносимо страдая от боли, кое-как дотащился до кушетки и, рухнув на нее, потерял сознание. Естественно, врачи занялись мною лишь после того, как завершили операцию у женщины, убедившись, что опасность ей больше не грозит.

И сколько раз впоследствии мне приходилось стоять у операционного стола, когда сам сильно недомогал. Особенно давал о себе знать в работе (а ведь работа хирурга – это работа на ногах, да еще по несколько часов кряду без отдыха) приобретенный мною в финскую войну анкилозирующий спондилоартроз, когда тяжкие боли не позволяют в момент приступа ни согнуться, ни разогнуться, сжимают тебя беспощадными железными клещами...

Рассуждая об этом, припоминаю еще один случай, не такой уж и давний, оставивший на душе горький осадок. Впервые, наверное, в жизни я вынужден был из-за болей в области сердца взять больничный лист. Боли одновременно терзали и плечо. Травматологи признавали, что это отложение солей кальция в суставной сумке. Я пришел в клинику для физиотерапевтической процедуры. В коридоре преградила мне дорогу заплаканная женщина:

– Профессор, сейчас оперируют моего мужа. Помогите его спасти!

Можно ли быть бесчувственным к горю?

Я прошел в операционную, и оказалось, как нельзя кстати. Доктора Богдан и Левашов никак не могли решить: продолжать операцию или зашить рану и снять больного со стола? Опухоль правого бронха представлялась им неоперабельной, они даже широко вскрыли перикард, чтобы убедиться в этом. Понятно, что мое неожиданное появление было встречено ими с радостью.

– Может быть, Федор Григорьевич, не откажетесь надеть перчатки и попробовать?..

Ясно, что я не мог отказать своим помощникам, да и судьба больного, когда увидел его со вскрытой грудной клеткой, уже не могла быть мне безразличной. Надел стерильный халат и перчатки – прямо на немытые руки, с единственной целью подсказать, определить возможность удаления опухоли. Но, встав к операционному столу, я вынужден был отойти от него лишь тогда, когда убрал все легкое вместе с опухолью... А отсюда пошел в физиотерапевтический кабинет принимать процедуру. На минуту-другую после этого заскочил в свой кабинет за нужной книгой, раздался телефонный звонок. Я поднял трубку и услышал недовольный голос:

– Как же понимать, Федор Григорьевич? Вы больны, на бюллетене, а оперируете! Непорядок! Неудобно говорить, но мы так полагаем, что вы или не больны, или не бескорыстно это делаете. Просим вас, чтобы впредь этого не было...

Я даже не обиделся на говорившего. Таким людям не понять хирурга, тем более работающего по призванию. Я ответил:

– Хорошо. Если при подобной ситуации потребуется моя помощь лично вам или кому-либо из ваших близких, а я буду иметь больничный лист, в операционную не зайду. Во всех остальных случаях действовал и буду действовать так, как подсказывает мне моя совесть.

Здесь, вероятно, уместно сказать, что редко к какому другому специалисту предъявляются столь высокие требования, как к хирургу. Он получает, как все служащие, зарплату, на него распространяются государственные законы о труде и отдыхе, он, в конечном счете, такой же, как другие, со всеми семейными заботами, увлечениями, слабостями... И в то же время должен при первом же сигнале броситься на помощь тяжелому больному, по сути ни на час не имеет права забыть, что он хирург – его оперативное вмешательство может понадобиться в любой миг, в самом неожиданном месте: на улице, в самолете, вагоне, на рыбалке, в кафе, на шумной автостраде...

На третьем году пребывания в Киренске мне пришлось срочно вылететь сначала в Иркутск, а затем в Ленинград. Единственным хирургом на всю округу остался мой ординатор – молодой, подававший надежды врач. За год работы в нашей больнице он неплохо освоил вопросы диагностики, стал делать довольно сложные операции до резекции желудка включительно, что по тому времени надо считать большим достижением. Я был доволен им и полагался на него.

В один из воскресных дней к нему издалека приехал товарищ, и они на радостях крепко выпили. А в этот момент позвонили из больницы: привезли женщину с «острым животом», состояние очень тяжелое, нужна немедленная операция. У ординатора хватило сил лишь на то, чтобы непослушным языком ответить: «Плохо себя чувствую, оперировать не смогу...» Встревоженный И. И. Исаков прибежал к нему на квартиру и, конечно, все понял. Пришлось ему вызвать гинеколога, Веру Михайловну, они вдвоем прооперировали женщину, у которой оказался гангренозный аппендицит. Операция спасла ее от смерти. Это был выходной день. Но хирург всегда на вахте: к нему могут обратиться, если не из больницы, то соседи, знакомые.

Общественность города была возмущена отказом хирурга оперировать, посчитав причину неуважительной, и вскоре ему пришлось подать заявление об уходе.

Я жалел тогда, что потерял толкового помощника, и думаю, что случившееся оставило у него незабываемый след...

Общественность предъявляет самые высокие требования к хирургу. Это правильно, так как хирург ответственен за жизнь людей. Но хотелось бы, чтобы о нем тоже проявлялась забота: хирургу нужны условия, чтобы в свободное время он мог совершенствоваться в своей профессии, необходим и душевный покой.

Состояние его нервной системы не может не сказываться на больных: у взвинченного человека нет твердости в руках, а скальпель любит только твердые, спокойные руки! Еще гениальный Н. И. Пирогов предупреждал: «...если хирург чем-то взволнован, что не имеет отношения к операции, он должен ее отложить. Это будет лучше для больного, так как хирург своим мастерством намного владеть перестает...» Выходит, бережное отношение к хирургу – это забота не столько о нем, сколько о больных людях!

Бесспорно, ведя речь о врачебном долге, мы отдаем себе отчет в том, что при необходимости чуть ли не каждый человек, особенно воспитанный в духе нашей советской морали, не посчитается ни с чем, чтобы оказать помощь другому. Но ведь такая необходимость бывает не ежедневно, она как случай, в то время как настоящий врач сам по себе всегда «скорая помощь». Его из постели поднимают, и он бежит к больному, и неизвестно, когда теперь сам заснет... Правильно говорил В. В. Вересаев: «...Для обычного среднего человека доброе дело есть нечто экстраординарное и очень редкое; для среднего врача оно совершенно обычно».

Особенно тяжел труд хирурга на периферии, где он – единственный специалист на целый населенный район, иногда слишком большой, по территории не уступающий какому-либо маленькому государству. Так в Киренске приходилось быть круглосуточным дежурным, даже круглогодичным! К нам редко обращались с незначительными травмами: если уж доставили, значит, серьезная опасность для жизни человека, нужно без промедления вступать в бой за него.

Вспоминаю Анкундинова Прохора, в те годы лучшего охотника-медвежатника в наших краях. Когда он из деревни приезжал в Киренск, шел улицами, громадный, сам как медведь, с лицом, обросшим густыми рыжими волосами, с рогатиной и ружьем за спиной да большим ножом на поясе, чуть ли не все выходили из домов смотреть на него, и лестно было тем, с кем он здоровался. Каждый – и стар, и млад – знали, что в свои сорок лет взял он в схватках тридцать девять медведей и искал встречи с сороковым. «Для ровного счета», – коротко пояснял Прохор.

Однажды он пошел на охоту, а за ним увязался Дмитрий Пушляков, болтливый, пустой мужичишка, который в деревне, или когда выезжал на базар, приставал ко всем с одной и той же похвальбой: «А давай на спор – четверть водки без закуски выпью!» И хотя сам Прохор временами лихо прикладывался к рюмке, но этого пустомелю не уважал и с собой в тайгу взял скрепя сердце, потому что у нас не принято отказывать кому-либо в компании.

Еще и тайга-то как следует не раскрылась перед ними, от деревни не успели отойти, шли, не осторожничая, Прохор впереди, Митяй за ним, как произошло то, что Анкундинов впоследствии даже объяснить толком не мог. Споткнулся он о корягу, упал, а когда попытался встать, на нем сидел уже матерый медведь. Вывернулся из-под него Прохор и увидел перед собой смрадную раскрытую пасть зверя, почувствовав, что сейчас рванет тот его за плечо, уловчился своей могучей рукой схватить хозяина тайги за ухо, оттянуть клыкастую морду от себя. Но на плече все же осталась кровавая отметина.

Огромной силой обладал Прохор, и, наверно, удесятерилась она в момент смертельной опасности. Железной хваткой держал он ухо медведя, отворачивая его косматую морду от

своего лица, другой рукой защищался от когтистых лап. Все же медведю удалось зажать Прохора в объятьях, но тот по-прежнему оттягивал за ухо морду зверя, не давая себя укусить. Медленно двигались они, натываясь на пеньки, не желая в грозном единоборстве уступить один другому. Надеялся Прохор, что вот сейчас Митяй подскочит, всадит косолапому заряд – и дело будет кончено... Но Митяя след простыл: бросился он бежать в деревню и с криком: «Там! Там! Медведь!..» – нырнул в подполье. Ведром холодной воды окатили его мужики, чтобы привести в чувство, узнать, что с Прохором. Схватив ружье, помчались на лошадях к месту поединка, уже не рассчитывая застать охотника в живых.

Страшную картину увидели они. На тропе топтались большой лохматый медведь и окровавленный, в располосованной одежде Прохор, ощеренная в злобном оскале морда медведя была свернута Прохором набок – так и продолжал он ее удерживать. Племянник Прохора Егор подошел вплотную к ним и выстрелил в зверя. Тот, взревев, повалился на землю, увлекая за собой охотника, и судорожным движением лапы, впившись когтями в затылок Прохора, содрал ему всю кожу на голове, натянув ее, как чулок, на лицо.

Оба противника лежали на земле: медведь мертвый, а человек – неизвестно какой... Ничего не могли понять родные и земляки Прохора: вместо головы у него окровавленный шар, нет на нем ни лица, ни затылка – сплошная кровоточащая рана! Послушали – сердце бьется! Закутали истерзанную голову Прохора исподними рубахами и, не теряя времени, помчали его на лошадях в больницу, благо до Киренска от того места было верст семь – девять... Я вел амбулаторный прием больных, когда мне доложили, что привезли человека, которому «медведь голову откусил».

Размотав с головы Прохора рубахи, я содрогнулся: кожа, начиная с затылка, оторванная от спины, была вывернута на лицо, закрыла его до рта. Края раны были рваные, мятые, все в запекшейся крови, и хорошо еще, что кровотечение из крупных сосудов уже приостановилось. К счастью, медведь не нанес Прохору повреждений жизненно важных органов, но у него были тяжелый шок и огромная встряска всей нервной системы – на грани катастрофы. Он никак не приходил в сознание – пульс был нитевидный, и мы боялись худшего.

Несколько часов ушло на то, чтобы поддержать в Прохоре еле теплившуюся жизнь: вводили морфий, обезболивающий раствор в рану, противошоковый раствор, переливали кровь. Эффекта почти никакого! Узнав от родственников, что Прохор, хотя пил редко, но крепко, хмель на него долго не действовал, я сказал Дусе Антипиной, чтобы она приготовила раствор сорокапроцентной глюкозы с десятипроцентным спиртом. Влили ему внутривенно пятьдесят кубиков, и тут же с облегчением заметили улучшение пульса. Вскоре поднялось кровяное давление. Снова стали переливать кровь, а через два часа опять ввели раствор глюкозы со спиртом – и медленно, постепенно давление стало выравниваться, появились рефлексy, первые признаки восстанавливающегося сознания.

Только после того как давление пришло в норму, мы осторожно, чтобы еще раз не вызвать шока, тщательно все обезболили, обработали и, вывернув обратно скальп, ушили рану. Теперь главной задачей было – справиться с нервным потрясением, вернуть Прохора к нормальным представлениям о жизни.

Несколько дней Прохор ничего не видел, но вскоре зрение восстановилось. Только был охотник все время мрачен и о чем-то часто задумывался... Через шесть недель мы его выписали. После мне рассказывали, что как только Прохор переступил порог своей избы, он снял со стены ружье и побежал к дому Дмитрия Пушлякова. Но тот уже знал, как трагично для него может окончиться встреча с тем, кого он бессовестно предал в минуту

опасности, и заблаговременно скрылся куда-то, пропадав в бегах больше месяца. За это время родные того и другого уговорили Прохора не убивать Митяя, не сиротить его детей, не брать на душу грех. Отошло сердце у охотника, и ограничился он лишь тем, что в козырной праздник при всем честном народе набил Митяю морду и при всех приказал собственным детям никогда не водить дружбу ни с кем из рода Пушляковых...

Ко мне Прохор пришел через несколько месяцев. Ничего подозрительного в его состоянии я не обнаружил. Сказал ему на прощание:

– Ну что ж, крестник, возьмешь меня с собой на медведя? Никогда не ходил, хоть посмотрю!

Прохор поерзал на стуле, отвернулся, стал в окно смотреть и ответил – чувствовал я – с душевным волнением:

– Хоть обижайся, доктор, а такая теперь судьба у меня – ходить на зверя токмо в одиночку. Я тебе, если скажешь, живого его сюда приведу, но в тайгу, прости, не возьму...

Знаю, что Прохор Анкундинов жил долго, до последних дней охотился и с того памятного для него сорокового медведя увеличил их счет вдвое, но, говорили, оставался нелюдимым, в деревне его теперь видели лишь по престольным дням – не выходил из тайги...

Приблизительно в то же время был другой, закрепившийся в памяти случай с больным по фамилии Жиганов.

После нескольких трудных, затянувшихся операций я в три часа, не успев забежать домой пообедать, направился на другой конец города, в поликлинику, где вел консультативный прием хирургических больных. Их было очень много, я извинился за опоздание и, как только вошел первый пациент, с этого момента уже на целых четыре часа не знал передышки осматривал, давал советы, писал назначения, делал амбулаторные операции... Когда же в семь вечера наконец карточки больных на моем столе иссякли, я снял халат и вышел в коридор с мыслью, что невыносимо хочется есть, нужно бежать домой. И вдруг увидел полулежачего на деревянном диванчике человека. Все мышцы его серого, без кровинки лица, казавшегося безжизненным, были напряжены, нос обострился. Я как взглянул на него, сразу же подумал: «лицо Гиппократ!» Так называют своеобразное выражение лица у больных с воспалением брюшины. И хоть до этого мне не приходилось видеть такое маскообразное лицо, в учебниках оно очень хорошо описывалось: я не сомневался в диагнозе.

Осторожно ввел больного в кабинет, потрогал его живот – он был твердый, как доска. Разлитой перитонит.

Жиганов кратко, прерывающимся голосом рассказал историю своей болезни. В нем уже чувствовалось то безразличие, в которое впадают больные перед концом...

Он живет в деревне Подкаменке, что в сорока километрах от Киренска вниз по Лене. Давно страдает болями в верхней части живота, усиливающимися при приеме пищи. В последнюю неделю боли стали особенно резкими, что и заставило его поехать к врачу. Добрался до Киренска на попутной подводе, на санях, к вечеру, на прием к врачу уже опоздал и пошел ночевать к знакомым за два километра от города, в деревню Мельничная. Перед рассветом, часа в три, почувствовал резкую внезапную боль – «как ножом пырнули» (я про себя отметил: характерный симптом при прободной язве желудка – кинжальная боль). Знакомые сбегали за «знающим человеком»: тот поставил на живот горшок, мял и

давил живот, с помощью других ставил больного вниз головой, а ногами вверх и «потрясывал»... Ничего не помогло. Да и как могло помочь! Ведь делали все так, чтобы разнести инфекцию по всей брюшной полости. Слушая Жиганова, я не знал, чему больше удивляться: терпению этого человека, который все стоически переносил, или невежеству тех, кто брался его лечить, ничего не смысля в этом. А поведение больного, его поистине невероятная выдержка с медицинской точки зрения были трудно объяснимы. Вот что происходило дальше.

Утром Жиганов, испытывая сильную боль в животе, пешком направился в больницу. Отдыхал через каждые пять – десять шагов и пришел туда уже после трех часов. В больнице дежурная сестра, прошедшая подготовку лишь на трехмесячных рокковских курсах, даже не взглянула на него, бросила небрежно на ходу, что хирурга нет, он в амбулатории, и если больному нужно, пусть идет туда... И он опять пошел! Через весь город! Если бы я не видел перед собой Жиганова, навряд ли поверил бы в такое: как он мог идти с разлитым перитонитом?! Еще почти четыре часа на ногах, в ходьбе!

Операция, благодаря срочно принятым мерам, началась около девяти часов вечера, спустя восемнадцать часов после прободения. Известно, что при прободной язве желудка результаты операции находятся в прямой связи со временем, прошедшим после прободения. Если операция сделана в первые шесть часов, смертность колеблется в пределах десяти – двенадцати процентов. При операции в первые двенадцать часов – смертность около пятидесяти процентов. Если же операция производится через сутки – почти все больные погибают. Так что операция через восемнадцать часов – это на грани возможного. Тем более, что больному, вместо того, чтобы предоставить покой, делали всевозможные дикие манипуляции на животе, ему пришлось много ходить...

При вскрытии брюшной полости было обнаружено большое количество мутной жидкости. Диагноз подтвердился. Следовало уточнить его причину. Стали исследовать желудок и в пилорическом [пилорический – выходной отдел желудка] отделе сразу же натолкнулись на язву. Была она диаметром около сантиметра, из нее обильно выделялось желудочное содержимое.

Тщательно осушили всю брюшную полость, обложили салфетками, стали язву ушивать. Ассистировала, как обычно, Вера Михайловна. Края у язвы воспаленные, отечные, при затягивании швов легко прорываются, а язва, и так большая, от этого становится еще больше... Пришлось приложить к ней кусочек сальника на ножке и ушить матрасными швами. Но как ни старались, все же просвет желудка сузили. Когда стали проверять, увидели: проходимость из желудка плохая. Если оставить так, у больного со временем разовьется органический стеноз, начнутся рвоты, и они или погубят его, или заставят вскоре же ложиться на повторную операцию.

– Нужно накладывать анастомоз, – сказала Вера Михайловна.

– Но мы не знаем, какая у него кислотность желудочного сока. Если она высокая, разовьется пептическая язва, как у Степы Оконешникова. Все равно будет мучеником!

Где выход? Без анастомоза он погибнет. А мы назначим ему диету, будем давать щелочи, пептическая язва, смотришь, не разовьется... Во всяком случае, будет ли язва – это ещё вопрос, а что он не перенесет операции без анастомоза – это почти точно...

Слова Веры Михайловны были убедительными, я и сам так думал, а наш диалог – это, как всегда, поиск лучшего варианта, желание проверить сомнения. Мы наложили больному

анастомоз между желудком и тонкой кишкой, чтобы пища свободно проходила из желудка в кишечник, и через две недели Жиганов был уже выписан домой. Долго я наблюдал за ним, вызывая в больницу, опасаясь за него. Но, несмотря на весь драматизм случившегося с ним – до операции и во время нее, все обошлось как нельзя лучше. А судьбе было угодно, чтобы через годы я снова в операционной встретился с Жигановым, но не с ним самим, а с его братом. Но об этом после.

* * *

Обостренное чувство ответственности перед больным человеком, уважение к своей профессии заставили меня уже в Киренске полностью отказаться от вина... И в дальнейшем, я уже говорил, никогда не употреблял спиртных напитков, и не верю утверждениям, что, мол, опытный хирург, будучи под градусами, сделает операцию так же хорошо, как и трезвый. Да и кто из нас захочет лечь под нож пьяненького хирурга или даже тогда, когда он просто с похмелья – с замедленной реакцией во всем, с неуверенными движениями рук?

Многочисленные опыты на животных, проведенные Иваном Петровичем Павловым, показали, что после сравнительно небольших доз алкоголя у собаки гаснут выработанные условные рефлексы и восстанавливаются лишь через шесть дней. Опыты более поздних лет подтверждают отрицательное воздействие алкоголя на нервную систему. Машинистка, которой перед началом работы дали выпить двадцать пять граммов водки, делала ошибок на пятнадцать – двадцать процентов больше, чем всегда. Водители автомашин пропускали запрещающие знаки. Стрелок не мог точно поразить мишень... И это, замечу, особая тема, причем, считаю, государственной важности. Мне не раз приходилось выступать по данному вопросу со статьями в прессе и в какой-то степени это найдет отражение на страницах книги...

Пока же опишу одну сцену, из той, киренской жизни.

...Был праздничный день, и у нас дома за щедро уставленным кушаньями столом собрались наши друзья. Всем хотелось повеселиться, встряхнуться: на смену надоевшим холодам пришла весна! Гости, разумеется, сразу же потребовали, чтобы я тоже пил. Я пробовал отшутиться, говорил, что и без вина в хорошей компании бываю как пьяный, но все были настойчивы, а некоторые с обидой отставили в сторону свои рюмки. Тогда я вынужден был перейти к серьезным объяснениям, стал ссылаться на то, что в любой момент может последовать звонок из больницы, и я всегда должен быть трезв. Кое-кто отстал от меня, а самые упорные продолжали свое: рюмка-другая не помешают, и в больнице авось сегодня пройдет все благополучно. И – как по заказу! – раздался телефонный звонок. Дежурная сестра просила прибыть как можно быстрее: привезли раненого в живот, он в тяжелом состоянии.

Тут же, распорядившись по телефону, чтобы вызвали операционную сестру, я стал спешно одеваться. Внезапная мысль озарила меня: пусть со мной пойдут те, кто уговаривал меня сейчас пить, пусть посмотрят, что там, в больнице, происходит! Может, это убедит их сильнее, чем все мои слова. Трое согласились пойти со мной.

...Я готовился к операции, а друзья, надев халаты, маски и шапки, чинно и тихо встали у стены. На операционном столе лежал молодой человек, осунувшийся, бледный, – на обнаженном животе темнела большая рваная рана с запекшейся по краям кровью.

Вскрыл брюшную полость, обнаружил ранение печени, желудка и в нескольких местах – тонкого кишечника. Было много крови, она затрудняла работу... Приступив к ушиванию печени, вспомнил о своих друзьях, взглянул на них и попросил санитарку немедленно дать им понюхать нашатырного спирта! Лица друзей не отличались от халатов и белых стен, а один на подгибающихся ногах опускался на пол. Санитарка вывела их из операционной на свежий ветерок, и, придя в себя, они пошли догуливать, а я еще часа три находился возле раненого: его жизнь всецело зависела от тщательности произведенной мною операции и от своевременности и полноты противошоковых мер.

С этого дня друзья не только не понуждали меня пить, а, наоборот, взяли под защиту: всем другим доказывали, что хирург должен всегда находиться в «трезвом карауле».

Вспоминая сейчас те четыре года жизни в родном Киренске, могу сказать себе: для меня это было время накопления сил. Сын этой земли, я, вернувшись сюда, должен был многое как бы заново переосмыслить, многое для себя решить. По существу, впервые я так отчетливо понял, что есть просто работа, будничная, с похожими один на другой днями, и что эта же работа, если ты любишь ее и стремишься к большему, может быть пронизана ощущением твоей полезности народу, сознанием того, что можешь и обязан стать одним из тех, кто своими делами облегчит сотни и сотни человеческих судеб, поможет там, где до этого никто не мог оказать помощь.

Глава VIII

Хирург никогда не знает, какую задачу перед ним в любую минуту поставит жизнь. А если он к тому же один на большую округу, то вынужден оказывать неотложную помощь не только по своей прямой, но и по смежным специальностям. И для меня в этом отношении великим подспорьем были практические занятия, полученные когда-то на курсах по военно-полевой хирургии. Я скрупулезно изучал там дисциплины, в которых был менее подготовлен, но которые могли понадобиться. В частности, с увлечением практиковался в клинике нейрохирургии. Ведь открытые и закрытые повреждения черепа и головного мозга бывают не только в военное время, значит, я и с ними столкнусь...

Накануне Нового года в больнице было удивительно спокойно. Больные, которые чуть поправились, попросили их выписать, чтобы Новый год встретить в семейной обстановке. Те, кому предстояла плановая операция, решили поступить после праздника. Тяжелых больных не было.

Я сделал вечерний обход и с удовольствием подумал, что сегодня можно отдохнуть и повеселиться до утра.

Собралось много народу. По нашему сибирскому обычаю, гости пришли пораньше. Мужчины и женщины, вымыв руки, взялись за изготовление пельменей. Перемололи мясо, заправили нужным количеством перца, лука, соли и смешали с чистым снегом, чтобы пельмени были сочными. Женщины, под маминым руководством, готовили тесто. Это не простое дело. Надо замесить муку на определенном количестве яиц и воды и очень долго уминать тесто, от чего зависит тонкость и крепость сочня. Когда все было заготовлено, двое стали раскатывать сочни, а мы уселись стряпать пельмени. Я с детства любил их делать. Они получались у меня аппетитными, и лепил я их быстро.

И тут наступило самое интересное. Мы начали петь песни, как принято на посиделках. Люблю я наши русские песни, и всегда они меня волнуют. И не только слушать, но и петь люблю, хотя большим голосом не обладаю. Хорошо и задушевно пела мама; от нее, наверное, и у меня любовь к песне.

Так с песней, с веселыми рассказами, с шутками да прибаутками быстро справились с работой, не позабыв в некоторые сочни вместо мяса подложить уголек или хорошую кучку перца «на удачника».

К полуночи все пельменное хозяйство было убрано, столы накрыты. На плите кипел пахучий наварной бульон. В хорошем настроении поднимаем новогодние бокалы: я, хоть и поднимаю бокал, но, как всегда, «на всякий случай», не пью. Отодвинули столы, начались танцы.

В самый разгар веселья, в третьем часу ночи, раздался телефонный звонок. Тихо спрашиваю: «В чем дело?» Говорят: «В больницу привезли мальчика и девочку, у обоих разбиты головы. Дети без сознания». Даю команду: «Вызывайте старшую операционную сестру, разворачивайте операционную». Маме поручаю развлекать гостей, Веру прошу прийти через полчаса, когда все будет готово к операции. Не попрощавшись с гостями, чтобы их «не спугнуть», незаметно вышел в морозную ночь.

Мороз 40° – захватывает дух, а разгоряченному лицу приятно. В голове тревожные мысли: застану ли в живых детей, и удастся ли их спасти? Ни тени сожаления, что оставил приятную компанию. Сколько раз в моей жизни прерывал я что-то приятное и бежал вот так же по вызову из больницы и никогда не жалел.

Глава IX

Плывет пароход, и все дальше, дальше убегают знакомые ленские берега. Притягательна сила живой, волнующей воды. Бурлящие волны, расходясь, стремительно откатываются назад, за ними не уследишь, и тут же идут новые, каждая из которых подобна предыдущей и в то же время неповторима... Движущаяся вода – как пылающий огонь: трудно бывает оторвать взгляд от бушующей стихии. В огне, в переливающейся воде что-то вечное, дающее отдых напряженному сердцу, заставляющее тебя забыть все мелкое, наносное.

Я прощаюсь с Сибирью.

Уходит от меня тайга, молчаливая, затаившаяся, холодком веет от ее дремучих, скрытых от любопытного взора лощин, которых так много в непроходимой чаще. И вдруг тайга, отступив от берега, широко расстилает просторный луг, весь в красных, белых и желтых цветах. Кажется, что на этот луг опускается отдыхать солнце – так оно золотисто и горячо искрится! И тут же фиолетовые блики ложатся на пароход. Подул внезапный ветер: оказывается, входим в скалистое ущелье. Высокие береговые камни поросли мхом, о них бьется прозрачная вода. А днем здесь, как вечером, сумеречно, прохладно. Выходим опять на простор. Машут нам руками деревенские мальчишки, близок душе вид обжитого человеком места, приятно смотреть на легкий курчавый дымок, струящийся из печных труб...

Долго это не уйдет из памяти, будет возрождаться в снах. И когда в газетах случайно наткнушь на знакомые сибирские названия, упомянут там какой-нибудь городок или нашу Лену, – светло и с щемящей грустью отзовется это во мне.

...Когда после продолжительного путешествия прибыли в Москву, тут же пошли с Верой Михайловной разыскивать Водздравотдел – Управление Наркомздрава, которому подчинялись. Трое малышей находились при нас. Где их оставишь в незнакомом городе! Старшей дочери было девять лет, а младшей – всего два. Пришлось Вере Михайловне устроиться с ними на скамейке в скверике, а я вошел в здание, поднялся по лестнице на нужный этаж, разыскал необходимый кабинет.

Входил я в этот кабинет с чувством исполненного долга и, естественно, с надеждой, что буду тут понят. Ведь в свое время на работу в Сибирь мы с женой поехали добровольно, тогда как большинство отправлялись туда по мобилизации. Проработали на Крайнем Севере в два раза дольше, чем обязывал нас договор, и, наконец, у обоих имелись самые прекрасные характеристики, где, в частности, говорилось, что больница под моим руководством стала лучшей в крае... Значит, полагал я, не должно быть никаких препятствий для направления нас на учебу: ведь когда посылали в Сибирь, было обещано, даже закреплено в договоре, что по окончании срока каждому предоставят место в аспирантуре, на кафедру по его выбору... А мы по всем статьям это заслужили!

Однако по-другому думал начальник отдела т. Коган, с которым мне пришлось разговаривать. Выхоленный, надушенный, как женщина, он небрежно посмотрел на справки о проведенной в Киренске работе и, не стараясь скрыть зевоту, раздиравшую его скулы, спросил:

– Так чего же вы хотите?

Я объяснил, что согласно установленному порядку прошу дать путевки в аспирантуру: мне – в клинику Н. Н. Петрова Института усовершенствования врачей в Ленинграде, Вере Михайловне – в акушерско-гинекологическую клинику того же института.

Начальник постукивал короткими, поросшими черными волосами пальцами по столу и молчал. Потом, опять зевнув, сказал:

– Вы имеете желание, мы не имеем желания... А думаю я предложить вам, товарищ Углов, хорошенькое дельце. Назначим-ка вас на должность заводздравотделом в... – он сделал паузу, – ...в Печоре!

Я не мог поначалу слова выговорить: я ему про необходимость учиться, он мне сквозь зевоту – о продолжении работы на Крайнем Севере, в еще большей глуши, да не хирургом, а администратором! Глупый он человек, не знающий жизни, или, наоборот, меня за дурачка принимает? Я пристально взглянул на него, увидел в его выпуклых глазах затаенную насмешку. Сдерживая себя, насколько мог спокойно, сказал:

– Мы с женой должны стать аспирантами, у нас для этого и так уже критический возраст. Напишите направления, как было обещано.

– Вы так, товарищ Углов, не разговаривайте, не советую. Сказано, в Печору, поедете в Печору. А потом посмотрим насчет вашей аспирантуры. В аспирантуру идти не один вы имеете желание, находятся и другие, между прочим...

– Что ж, – сказал я, – если вы представите мне конкурента, который больше меня проработал на Крайнем Севере, заслужил право, я уступлю ему свою путевку. Есть такой человек?

– Я вас через ЦК заставлю поехать в Печору!

– А я, пожалуй, прямо отсюда сам пойду в ЦК. Там объективные люди, рассудят, нужно ли мне учиться или нет, и кто из нас прав – тоже рассудят.

– Какой у вас горячий темперамент, – натянуто засмеялся начальник. – Никуда не ходите, нам не нужно этого. Но до завтра хорошенечко обдумайте мое предложение.

Я вышел из кабинета в таком возмущении, что не заметил в дверях девушку, которая вносила сюда на подносике стакан чая и тарелочку с пирожками, нечаянно толкнул ее, и чай плеснулся на пол.

– Извините, – пробормотал я.

– Сибирский медведь, – раздраженно бросила она.

Это почему-то сразу развеселило меня. Я подумал: ну нет, будет, как задумано!

И действительно, на следующее утро начальник отдела, не сказав ни единого слова и ее посмотрев даже на меня, подписал нам направления в Ленинград.

На вокзал помчались в самом радужном настроении.

* * *

С трепетным чувством входил я в здание клиники Н. Н. Петрова. Может, покажется сентиментальным, но я уже любил своего учителя, еще не ведая, какой он человек. Мне было достаточно знать, что он мастер своего дела, великолепный хирург, многое давший людям и науке. А Николай Николаевич, разумеется, в то время не имел представления о новом аспиранте – провинциальном враче Углове.

Я сразу понял, что здесь, в клинике, все подчинено научной работе. Сам Петров не уставал повторять: для науки одинаково ценны как положительные, так и отрицательные данные. Лишь бы они были объективны, добыты честным путем, без натяжек и подтасовки фактов. И все в клинике – от руководителя до больничного ординатора – занимались разработкой научных вопросов. Хотел бы я этого или не хотел, но сама такая благоприятная атмосфера понуждала к занятию наукой, и в первые же недели в глубине души зародилось сомнение: а вдруг профессор Самарин ошибся?! Ведь тут, у Н. Н. Петрова, более молодые, чем я, и менее опытные как хирурги, ассистенты и ординаторы трудятся над кандидатскими диссертациями, успешно защищают их...

Быстро укреплялась во мне вера в себя, в свои способности к научной работе, и, право, чуть ли не наивными казались былые опасения, по-новому представлялся немалый практический опыт, накопленный в Киренске: сколько всего видел, сколько всего освоил! В клинике мне, как аспиранту, разрешалось оперировать при грыже или аппендиците. Я, имевший уже навыки в большой хирургии, в таких случаях охотно уступал свою очередь моим новым товарищам, тоже аспирантам, которые только и мечтали, как бы лишний разок постоять у операционного стола. Они верили и не верили, что я уже самостоятельно проводил десятки сложнейших операций, и боялся, что пока не продемонстрировал свои способности, считали, что привираю... А продемонстрировать их довелось лишь через полгода. Прослышав, что Углов отлынивает от легких операций, Николай Николаевич

порекомендовал дать мне возможность показать умение на желудочной операции. Когда больной с неподвижной опухолью желудка, которого я вел как ординатор, был доставлен в операционную, заместитель Петрова профессор А. А. Немилов внезапно предложил мне стать на место хирурга, а сам приготовился ассистировать.

Ни неуверенности, ни растерянности я не ощущал, было лишь легкое волнение, как всегда при экзамене.

Когда вскрыл брюшную полость, стало ясно: большая опухоль тела желудка проросла в нижний край печени, что и делало желудок неподвижным. Я сказал профессору, что тут можно резецировать желудок вместе с краем печени. Александр Александрович согласно кивнул головой. При этом он думал, как рассказывал позже, что я, увидев сложность предстоящей операции, освобожу ему место, попрошу, чтобы он сам делал ее. Однако я без колебаний приступил к операции, успешно справился с ней, ни разу не обратившись к профессору за советом или специальной помощью.

Это было, конечно, не от чрезмерной самонадеянности, а от привычки, усвоенной на самостоятельной работе, где возле меня не имелось консультантов, советчиков, все приходилось решать самому. Я не брался за операцию, пока не продумал каждую ее деталь от начала до конца, не разработал тактику ассистента, которого затем подробно инструктировал, когда, что и как делать... Привыкнув брать всю ответственность на себя, я, естественно, научился обходиться без подсказки со стороны. Это сразу понял и одобрил Александр Александрович Немилов.

Тут я должен сказать о самом Александре Александровиче. Смелый хирург, отличный диагност, он ведал в клинике, по существу, всеми практическими вопросами, касающимися лечения больных, подготовки молодых аспирантов и ординаторов. Мы ценили его за справедливость: у него не было любимчиков и нелюбимчиков. Он с радостью отмечал наши успехи и вежливо, но твердо указывал на недостатки. Совершенно седой, хотя ему тогда едва перевалило за пятьдесят, с молодыми острыми глазами, он создавал вокруг себя обстановку жизнерадостности. Даже не очень-то прилежные при виде его невольно подтягивались, любое дело при нем шло споро и уверенно. С глубоким уважением относясь к Николаю Николаевичу, он всячески поддерживал его авторитет, и в то же время в нем не замечалось ни тени заискивания. Отношения Немилова и Петрова были теплыми, дружескими и одновременно чрезвычайно корректными, с соблюдением субординации...

В войну, в самое трудное время блокады, Александр Александрович ни на день не покинул клиники, да еще консультировал в больнице имени Софьи Перовской, в которой долго работал до прихода в клинику. В период всеобщего блокадного голода у него обострились приступы стенокардии, но, скромный и отважный по натуре, он в грозный час меньше всего думал о себе, о необходимости поберечься. Скончался внезапно, на работе, во время сердечного приступа. Его смерть мы все очень переживали... Об этом чудесном человеке у меня остались самые прекрасные воспоминания.

Тогда же, после первой моей операции в клинике, к концу которой, кстати, в операционную пришел Николай Николаевич и тоже наблюдал за моей работой, профессор Немилов заметил:

– На вас приятно было смотреть. Хорошие руки!

А Николай Николаевич, как позже узнал я от старшей операционной сестры Людмилы Николаевны Курчавовой, сказал ей:

– Как ты считаешь, Федя-то неплохой хирург? Дай-то бог, дай-то бог...

Вскоре после этого Николай Николаевич пригласил меня к себе в кабинет, стал подробно расспрашивать о работе в Сибири. А выслушав, предложил написать научную статью о деятельности врача на периферии.

– Не знал, не знал, что вы у нас, папенька, гигант, – пошутил он. – Такой опыт грешно за пазухой носить. Пусть читают, на ус мотают...

Предложение учителя обрадовало меня. Ведь и сам, разговаривая с аспирантами, а также с врачами-курсантами, приезжающими к нам из различных хирургических учреждений страны, я все больше убеждался: объем работы, проведенный мною в Киренске, необычен. И если рассказать о нем в печати, раскрыв условия жизни и те трудности, что встретит молодой врач, едущий на периферию, статья будет поучительной для многих. А все документы о проделанных мною операциях, весь фактический материал у меня с собой.

К тому времени, изрядно помучившись с жильем (не очень-то охотно пускали на квартиру с маленькими детьми), мы наконец получили комнату на Охте, в одном из бараков, построенных наспех для сезонных рабочих. Это было шаткое, сырое, полутемное сооружение. Но когда ничего другого не предвиделось, и такой дом почитался нами за счастье. Кстати, я прожил в нем до блокады, когда его разобрали на дрова.

...Дети, утомившись, заснули, а я сел за статью. Через стенку было слышно, как шипел примус, кто-то громко играл на гармонии, под окнами бранились подвыпившие соседи, а я увлеченно писал, заставив себя отключиться от всего другого. Наверно, с тех дней научился работать при любом шуме, приходилось порой писать выступления для научных конференций и статьи для журналов на каком-нибудь скучном, но обязательном собрании, под многоголосый говор, и сейчас уже настолько натренирован, что могу даже работать под грохот современного джаза... Эта привычка не обращать внимания на звуковые раздражители спасла мне в дальнейшем много дорогого времени.

Та статья – я ей посвятил несколько вечеров и ночей – получилась большой и, как мне думалось, очень убедительной. Подробно рассказав в ней об условиях, в которых довелось работать, об организационных мероприятиях, которые необходимо было осуществить до начала непосредственно хирургической деятельности, я, наконец, детально изложил вопрос желудочной хирургии... Николай Николаевич быстро прочел ее, вычеркнул все лишнее, сократив этим самым количество страниц чуть ли не вдвое, и сказал: «Хвалю, папенька!» – и порекомендовал послать статью в «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова».

Вскоре меня пригласил к себе редактор этого журнала профессор Юстин Юлианович Джанелидзе.

– Мы послали вашу статью на рецензию профессору Заблудовскому. Он сомневается, чтобы в глуши, в Сибири, в районной больнице, смертность от резекции желудка была вдвое ниже, чем средняя по Ленинграду.

И добавил с легкой улыбкой:

– Профессор Заблудовский уверяет, что это выдумки барона Мюнхаузена.

– Еще бы! – вскипел я. – Если б такую статью прислал вам профессорский сынок, сомнений не было б! А то какой-то Углов!

У Юстина Юлиановича от гнева лицо побагровело, и я уже был не рад, что сорвался.

– Вот что, молодой человек, – сказал он сердито, – за такие слова я должен был бы попросить вас из кабинета и в печатании статьи отказать... да-да! Но я хочу вам все же дать возможность доказать справедливость ваших данных. Пошлите свою статью по прежнему месту работы. Пусть там подтвердят или опровергнут ваши данные...

Несколько месяцев ходила моя статья в Киренск и обратно, и на страницах журнала появилась лишь в 1938 году. Я смотрел на строгие печатные строчки, на свою фамилию, забранную полужирным шрифтом, и было тревожно-радостное ощущение, что сделан первый шаг в большой работе. Даже пожалел на миг, что «Вестник хирургии им. Н. И. Грекова» не продают в газетных киосках: сколько людей лишены удовольствия собственными глазами увидеть «великолепную» статью Федора Углова! Несправедливо!

И был уже окончательно убежден: даже кандидатскую диссертацию сумею написать не хуже других. Но Николай Николаевич почему-то не спешил дать мне тему для диссертационной работы, а когда я робко заикнулся об этом и раз, и другой, он не прореагировал. Опять пал я духом, замкнулся, решив, что учитель считает меня еще слишком зеленым. И вдруг однажды, когда я на обходе докладывал ему о большой с тератомой [тератома – врожденная опухоль сложного анатомического строения] крестцово-копчиковой области, он сказал:

– Вот она, папенька, тема. Опишите данный случай. Разовьете, будет диссертация.

Мне было достаточно этих, сказанных походя, слов учителя. Собственной энергии не занимать! В основу работы положил статью самого Николая Николаевича, который еще в 1899 году писал о тератоме крестцово-копчиковой области, но многие вопросы эмбриогенеза оставались невыясненными, и во всей отечественной литературе я не мог разыскать ответа на них. Николай Николаевич дал мне записку к профессору Хлопину. Тот долго беседовал со мной, я даже устал его слушать, но, кроме уже известного мне, ничего не вынес из этого посещения. Как в стену уперся!

Стал читать статьи в немецких медицинских журналах, и однажды попала одна, как раз по моей проблеме, но я никак не мог ее перевести! День бился, другой – ни в какую. Не помогла и учительница немецкого языка. А я, можно сказать, интуитивно чувствовал, что в этой статье как раз необходимая мне разгадка... Кто-то подсказал, что на Фонтанке живет немец-лингвист, в совершенстве владеющий родной речью. Поехал к нему, нашел нужную квартиру. Немец в драном халате и ночном колпаке на седой голове варил на кухне кофе. Пробежав глазами статью, он поднял кверху желтый от курения палец и со значением в голосе сказал:

– Это отшень трудный текст. Чтобы я прочиталь, нужен бутылка русский шнапс!

Намек, как говорится, я понял – куда как прозрачный! И когда через три дня снова наведалься к своему переводчику, он торжественно в обмен на бутылку протянул мне аккуратно переписанный перевод статьи: с грамматическими ошибками и стилистическими несуразницами, но в целом приемлемый. Прочитав, я возликовал: это действительно то, чего мне так недоставало. Теперь можно составить полное представление о сущности врожденной патологии – тератомы...

Отдавая много времени изучению медицинских источников., справочного материала, я стремился строить работу так, чтобы как можно активнее участвовать в жизни клиники и – лишь бы представлялась такая возможность – экспериментировать. С ассистентом А. Д. Картаковой вели опыты по клиническому и экспериментальному изучению внутривенного наркоза, испытывали и проверяли действие импортного и отечественного препаратов. Тут же, в экспериментальной лаборатории, я заинтересовался отравляющими веществами, действующими прижигаяще и в то же время отравляюще на организм. Думал, что если при поражении конечности наложить жгут, то это, возможно, замедлит всасывание и человек не умрет... На кафедре токсикологии эта гипотеза показалась интересной, и в мое распоряжение предоставили токсический препарат. Вечера я проводил в лаборатории, а перед уходом домой успевал еще посидеть в читальном зале библиотеки, откуда, как правило, перед закрытием изгонялся уборщицей. «Сидит, сидит, – ворчала она, – а чего высидишь-то? Один вот так же сидел, теперь его поводырь водит. Иль глаз не жалко?»

Опубликованная в «Вестнике хирургии им. Н. И. Грекова» статья заставляла меня снова и снова возвращаться мыслями к своему злополучному докладу на Оппелевском кружке. Ведь тогда лишь один профессор Самарин отнесся беспощадно к нему, а другие – они, напротив... Было искушение порыться в старых бумагах, отыскать те давние листки, перечитать их. Я так и сделал. И показалось, что написано убедительно, ничего лишнего нет, не нужно даже править. Отдал машинистке перепечатать, а потом понес на суд Николаю Николаевичу. Он возвратил мне материал уже на следующий день со словами: – Я написал свое решение, рекомендую в печать. Посылайте в хирургический журнал.

Я будто внезапное помилование получил, вроде бы сняли с меня многолетний гнет, под которым ходил... Слово ранит и слово лечит!

Вскоре эта работа была напечатана в журнале, не устарела она нисколько, хотя писал ее шесть лет назад.

В клинике Н. Н. Петрова я с ненасытностью наголодавшегося интересовался всем. За четыре года работы, когда был оторван от большой медицины, накопилась уйма вопросов... И как мне повезло, что теперь я возле мудрого человека, который является учителем в самом глубоком и светлом значении этого слова! Я упорно следовал за ним, чуть ли не по пятам всюду ходил, боясь что-то пропустить, чего-то не услышать. И он однажды шутливо сказал мне: «Отчего это ты, папенька, бродишь за мной, словно тень отца Гамлета?» Я лишь растерянно пожал плечами: как объяснишь жадное стремление знать, знать и знать!..

За время учебы в аспирантуре не пропустил ни одной лекции Николая Николаевича, всегда присутствовал на обходах больных, которые он проводил.

Как он умел быть со всеми вежливым, внимательным, заботливым! Нет, не то слово «умел»... Это составляло сущность его характера. Я никогда не видел его в раздраженном состоянии. Он был удивительно терпелив, даже когда больной «капризничал». Если кто-нибудь упрямо отказывался от операции, а она была необходима, Николай Николаевич не жалел ни времени, ни слов, чтобы убедить такого маловера, и тот в конце концов соглашался с профессором. На вопрос больного: «Что мне сделали?» – ни себе, ни помощникам не позволял ответить так, как нередко можно услышать от невежественных, грубых врачей: «Сделали то, что нужно!» Николай Николаевич обязательно разъяснял человеку особенность его болезни, значение тех мероприятий, которые уже осуществлены или готовятся. Он внушал нам: «Добивайтесь того, чтобы больной верил и охотно помогал вам. Болезнь – общий враг, бороться против нее должны совместно, плечом к плечу, и врач, и больной. Если же они станут действовать врозь или – что вообще худо – будут противодействовать друг другу, то им болезни не победить».

Ясно, что такое доверие к больному, правдивость по отношению к нему, в ответ вызвала беззаветную любовь сотен излеченных людей: имя выдающегося русского врача Николая Николаевича Петрова с уважением произносилось в разных концах нашей необъятной страны.

А правдивость Николая Николаевича была поистине удивительной. В ней было что-то от благородного донкихотства и самой чистой веры во всеильность человеческой справедливости. Расскажу лишь об одном факте...

Однажды Николай Николаевич сделал операцию по поводу туберкулеза почки и удалил ее. Операция была тяжелая, больную после долго приводили в себя. А у самого профессора возникло неясное ощущение допущенного промаха: не оставил ли в операционном поле салфетку? Когда больная обрела ясное сознание, он пришел к ней и сказал:

– Вы знаете, мамаша, у меня такое впечатление, что у вас в ране мы забыли салфеточку. Забыли и зашили. А это нехорошо, даже очень плохо. Как вы смотрите, если снова дадим вам наркоз, раскроем рану и поищем эту салфеточку?

– Что ж, – ответила больная, – раз считаете нужным, я согласна.

Так и сделали. После наркоза распустили швы, раскрыли рану, но никакой салфетки не обнаружили!

Через несколько лет эту женщину привезли в клинику на машине «скорой помощи» с опухолью желудка, вызвавшей непроходимость. Николай Николаевич, как услышал об этом, сразу же воскликнул:

– Это моя салфетка!

Когда больной произвели резекцию желудка по поводу опухоли выходного отдела, вскрыли препарат, там и вправду была она, замурованная салфетка! Проникнув в забрюшинное пространство и в просвет желудка, она явилась причиной непроходимости.

Николай Николаевич сокрушенно руками развел, а потом задумчиво сказал:

– Разумеется, эта салфетка не могла исчезнуть. Только зачем она пряталась так долго?

А когда женщину выписывали из клиники, она, улыбаясь, спросила у Петрова:

– Может, Николай Николаевич, история со мной будет чем-то полезна науке?

– Разумеется, – согласился профессор. – Это наука. Мне!

Они расстались друзьями, у больной хватило воспитанности понять, что от оплошности никто не застрахован, а откровенность хирурга только укрепила и так высокое уважение ее к нему. Ведь в любой жизненной ситуации откровенность всегда требует ответной откровенности, и на этой основе вырабатывается доверие одного к другому...

И, конечно, там, в клинике, с первых же дней впитывая все хорошее, я стремился освоить главное – методику операций, которые проводил сам Николай Николаевич и его ученики.

После памятных мне «шумных» операций В. А. Оппеля я прежде всего был очарован той тишиной, тем спокойствием, что царили в операционной у Николая Николаевича. Даже в самые ответственные моменты операции его голос бывал ровным, мягким, доброжелательным по отношению к помощникам. Можно лишь было услышать:

– Папенька, вытри тут хорошенько... молодец! Папенька, не тяни – порвешь... Не отвлекайся, папенька...

Я уже писал, что спокойная обстановка при операции куда эффективнее той, когда хирург бывает несдержанным, заставляет нервничать ассистентов.

Никогда не забывал я слов Николая Николаевича:

«За все, что происходит в операционной, отвечает хирург. Если чего-то нет, он виноват, что перед операцией не проверил. Если ассистент не знает хода операции, плохо ассистирует, тоже он, хирург, виноват: вовремя не научил... И так во всем!»

При операциях, которые проводил Николай Николаевич, поражали исключительная красота движений рук хирурга, четкость в работе, самое бережное, прямо-таки ласковое обращение его с тканями. Он брал в пальцы каждый орган, каждую петлю кишки так, будто они из самого тончайшего хрустала. Никакого разминания, расковыривания тканей. Закончит, бывало, двухчасовую операцию, на органах никаких следов от его пальцев нет: все ткани нормального цвета, без кровоподтеков и измятин, как будто брюшная полость только что вскрыта... Он совершенно не переносил страданий людей, и его сердце, как самый чуткий барометр, моментально реагировало на чужую беду. Не мог терпеть, когда больной на операционном столе кричал. Немедленно отправлял кого-либо из нас узнать: «Кто это там оперирует по методу Малыты Скуратова? Попросите его прекратить безобразие!»

И когда Николай Николаевич оперировал, я, затаив дыхание, старался ничего из его действий не пропустить, запомнить каждую деталь. Большинство операций, наблюдаемых мною в тот период, я уже самостоятельно проделал в том же Киренске, учась, как известно, по книгам, в том числе и по написанным профессором Н. П. Петровым. И, мысленно сравнивая технику и методику Николая Николаевича со своей, я давал себе жестокую оценку. Тогда еще подмастерью было далеко до мастера! Вот здесь, оказывается, нужно было делать так, а в этом месте тоже необходим был совсем другой подход... И какая точность рук при быстрых манипуляциях!

Когда же в редких случаях мне вдруг казалось, что какой-то момент техники у меня лучше отработан, я не стеснялся показать его Николаю Николаевичу, спросить его мнение, зная, что он никогда не покривит душой, оценит объективно. И если у меня что-то на самом деле было лучше, так и скажет. Вслух, при всех.

Чтобы не пропустить ни одной операции учителя, я взял за правило являться в клинику раньше всех. Проведя обход больных, сделав перевязки, записав данные в истории болезней, я к началу операции бывал уже свободен... Это во многом способствовало тому, что за два с половиной года узнал все основные установки и правила клиники Н. Н. Петрова не хуже, чем любой его ассистент, проработавший тут добрый десяток лет.

Вот почему, когда в конце аспирантуры меня мобилизовали в армию и пришлось стать полевым хирургом, я с гордостью говорил своим боевым товарищам-военврачам, что

являюсь учеником Петрова и представляю его школу. А это значило – уметь оперировать по Петрову и жить по Петрову.

Для врача-хирурга, понимал я, это был самый правильный путь.

Потому-то когда еще в первый год моего пребывания в клинике профессор А. М. Заблудовский сделал мне заманчивое и в чем-то даже почетное предложение пойти к нему ассистентом, я ответил, что остаюсь простым аспирантом у Н. Н. Петрова.

* * *

Кому не известны они, суровые житейские заботы, когда в семье у тебя маленькие дети, и при скудных деньгах любая, самая необходимая покупка оборачивается проблемой! Аспирантские стипендии не позволяли даже концы с концами сводить. Заботы наплывали одна за другой.

«Уже осень, дожди холодные, а у дочек ботиночек нет...» – думал я.

«У тебя такой пиджак, ходить в нем совестно...» – говорила жена.

А спустя несколько дней напоминала: «Три рубля всего... Как их растянуть до полочки?»

И я при напряженных занятиях в клинике, трудясь в поте лица над диссертацией, вынужден был искать себе оплачиваемую работу на стороне, по совместительству. Это съедало уйму драгоценного времени, но другого выхода у меня не было.

Однако, несмотря ни на что, кандидатскую диссертацию положил учителю на стол ранней весной 1938 года, через полтора года после того, как начал учиться в аспирантуре. Но у Николая Николаевича в то время оказались неотложные дела, и лишь осенью он одобрил мою работу, а позже, выступая на защите, дал ей самую высокую оценку, тепло отозвался о ее авторе. Ученый совет единогласно присудил сибиряку Федору Углову ученую степень кандидата медицинских наук. Поистине – терпенье и труд все перетрут!

Тут же, в пору летних каникул, мне предложили на два месяца занять место главного врача с совмещением обязанностей хирурга в больнице рабочего поселка Нива-II, что поблизости от Кандалакши. Я согласился на это с великой охотой и вдруг узнал: на имя директора Института усовершенствования врачей пришло указание откомандировать врача Ф.

Г. Углова в распоряжение отдела руководящих кадров Наркомата здравоохранения. Я понял, какая опасность грозит мне: посадят в административное кресло, оторвав от больных и хирургии.

И, не оставив никому своего адреса, я срочно выехал в поселок Нива-II.

Как волновалось сердце, когда делал первый обход больницы! Слово незабываемые киренские дни вернулись ко мне! Снова знакомая обстановка, по которой тосковал, – с полной самостоятельностью во всем, с обостренным чувством ответственности... И если в Киренске мне приходилось лечить рабочих затонов и судоремонтных мастерских, то здесь, на Ниве-II, тоже были рабочие – со строительства электростанции. Первые же успешные

операции на желудке, на щитовидной железе заставили людей поверить в меня, и немалую роль, конечно, играло мое кандидатство. Так уж бывает: не на профессиональное умение порой смотрим, а на титулы! И слава богу, когда второе подтверждается первым...

Диапазон операций был самый широкий, даже больший, чем в Киренске: в больнице не было акушера. В Киренске гинекологические операции выполнялись Верой Михайловной, а тут пришлось их делать самому. Опять книги! В них, как прежде, искал ответ на то, чего не знал.

Как-то ночью меня вызвали в родильное отделение. Туда поступила роженица в состоянии тяжелой эклампсии – с высоким артериальным давлением, рвотой, почти полной потерей зрения.

Беременность – девять месяцев. Операцию нужно было делать немедленно.

Приказав сестре и моему помощнику, студенту четвертого курса, приехавшему на летнюю практику, готовить больную, я раскрыл учебник, чтобы познакомиться с методикой предстоящей операции. Там подробно описывалось несколько способов, но в заключение было сказано: на современном этапе лучшим из них при «кесаревом сечении» признан шеечный, то есть такой, когда для извлечения ребенка матку рассекают не в области дна, а шейки. Этот метод надежнее других спасает матку от разрывов при последующих беременностях.

Операцию осуществил без труда. Когда раскрыл матку, увидел торчащие ножки. Вынул ребенка, передал его сестре. Господи, еще одна пара розовеньких ножек! Извлек другого малыша и с опаской уже посмотрел снова: все ли?

В вестибюле нервно мерил пол широкими шагами высокий худой мужчина в форме младшего командира Красной Армии.

– Поздравляю с двумя чудесными сыновьями, – сказал я.

– Она... она как?

– Вне опасности. Завтра сами поговорите с ней.

– Двое, доктор?

– Мальчики.

– Ух ты! Вот это да... Какой замечательный ты человек, доктор, сразу мне двух!

– Я, пожалуй, тут ни при чем...

– А все же! – засмеялся мужчина. С него сходило недавнее напряжение, мягко светились глаза. – Как звать-величать тебя, доктор?

– Федор Григорьевич.

– Будет тогда в самый раз! Одного сына, доктор, называю Ваней, чтоб не переводились на нашей Руси Иваны, а другого в твою честь – Федором. Пусть растут Иван Иваныч и Федор Иваныч Смирновы! На радостях нам, на страх врагам!

Он с чувством пожал мне руку.

А через восемь дней крепенькие, звонкоголосые Иван Иванович и Федор Иванович вместе со своей счастливой матерью были выписаны из больницы. Запомнилось, что отец приехал за ними на бронированной военной машине с охапкой синих васильков в руках, и это тоже осталось в памяти – синеглазые малыши, синие полевые цветы, высокое синее небо... Какой сокрушительный ураган прошумит чуть позже над ленинградской землей, надо всей страной! Трудно гадать, уцелел ли в огненных битвах защитник Родины Иван Смирнов, но мне хочется верить, что его сыновья живы-здоровы, творят полезные дела, именно так, как загадывалось их отцом: «На радость нам, на страх врагам!»

...Не без сожаления покидал я эту больницу. Неизвестность тревожила. Сотрудники наркомата все же разыскали меня и на Ниве-II: я получил телеграфное распоряжение оставить работу на участке и срочно выехать в Москву. Затем последовала еще одна бумага – опять на имя директора Института усовершенствования врачей: немедленно откомандировать врача Углова, с тем чтобы он прибыл в отдел руководящих кадров Наркомата здравоохранения точно 10 октября 1939 года.

А 9 октября я был мобилизован в армию.

Николай Николаевич Петров, написавший в наркомат ходатайство, чтобы меня оставили при клинике ассистентом, лишь сожалея руками развел... А мне тем более было тяжело расставаться с клиникой и со своим наставником, в котором я видел идеальный пример настоящего ученого, передового врача, великолепного человека. В известном руководстве о правилах поведения хирурга, написанном Николаем Николаевичем, есть слова, хорошо отражающие, по-моему, сущность характера самого профессора Петрова. Вот они:

«В хирургии, как и в жизни, имеются два способа возвыситься над окружающими. Один способ заключается в непрерывном росте, в совершенствовании своих знаний, опыта, гуманного отношения к больным, в совершенствовании хирургической техники. Другой способ заключается в том, чтобы унижать и оскорблять других с тем, чтобы этим возвысить себя. Однако только первый способ украшает человека и возвышает его над окружающими».

Тут, думаю, комментарии не требуются.

И люди, что окружали Николая Николаевича, в большинстве своем отличались именно стремлением к профессиональному совершенствованию и высокой добропорядочности. Выше я рассказывал о профессоре Немилове. Много хороших слов можно сказать о профессоре Топровер и профессоре Ковтуновиче. Первый успешно разрабатывал методику лечения Рубцовых сужений пищевода, предложил оригинальный способ желудочной фистулы. Второму принадлежат труды по вопросам кишечной непроходимости и онкологии... Большие надежды подавал заведующий отделением А. С. Федореев, защитивший в 1939 году докторскую диссертацию на тему о превращении язвы в рак. И, конечно же, его гибель на фронте в конце финской кампании, была ощутимой потерей для отечественной хирургии.

Среди тех, кто, как и я, был предан врачебным идеям Н. Н. Петрова, кто любил его, снова должен быть назван А. С. Чечулин. О нем уже не раз упоминалось на страницах этой книги как о первоклассном враче и славном человеке. Что-то гусарское подмечалось в его облике, если, разумеется, этот эпитет применителен к особенной во всех отношениях профессии

хирурга. Он был упорным, смелым, точным и бесстрашным в хирургической работе, и в то же время не мог представить себя без шумных компаний с веселым застольем, на сумасшедшей скорости гонял на мотоцикле, в штормовую погоду выходил в залив на парусной лодке, превосходно танцевал, пел под гитару и, что прискорбно, уже тогда мог позволить себе выпить когда угодно – был бы повод!

Я с болью сейчас пишу про это, с болью и, не скрою, в назидание тем, кто небрежно относится к своему таланту, своим способностям. Ведь Чечулин, не обременяй он свой мозг винными парами, не окажись, в конце концов, в тягостном алкогольном плену, наверняка бы стал видным ученым в области хирургии. Все данные для этого у него были. Водка, к которой, по его признанию, он окончательно пристрастился в войну, помешала защитить диссертацию, помешала по праву занять место своего учителя, чтобы продолжить завещанную им работу. Табак, а курил Александр Сергеевич тоже без меры, привел в сравнительно молодом возрасте к раку легкого... Так погиб для науки, а затем физически ушел из жизни, одаренный, чистой души человек. За свою многолетнюю врачебную деятельность я видел столько разбитых судеб, столько несчастий, виной которых были водка и никотин, что, поверьте, готов без устали кричать: опомнитесь, остановитесь, пока не поздно! Вы же не хотите, чтобы курил и пил ваш сын, почему же сами не откажетесь от этого? Безволие? Но где же ваш разум, голос рассудка?

Врач, поднимающий стакан с водкой или закуривающий папиросу, достоин осуждения вдвойне. Раз позволяет себе такое врач, на которого другие привыкли смотреть как на авторитет в вопросах профилактики здоровья, обесцениваются все призывы и предупреждения о вреде алкоголя и курения. Пример всегда сильнее слова.

Глава X

Повестка – срочно прибыть в военкомат, «имея при себе кружку, ложку, смену белья» – даже обрадовала меня. Теперь на законном основании я мог не появляться в наркомате, а в армии, думалось мне, продержат не больше двух-трех месяцев, как и бывает всегда на сборах. Опять же, надев военную форму, я останусь хирургом...

В военкомате оформили проездные документы до Пскова, и на другой день я уже докладывал о себе начальнику санитарной службы 25-й кавалерийской дивизии. А утром разбудила военная труба: построение... Начались армейские будни.

Оказалось, что в дивизию призвали «с гражданки» много врачей, фельдшеров и других медицинских специалистов. Нам поручалось организовать ДПМ – дивизионный пункт медицинской помощи. Его начальником был назначен доктор Лоцман, заместителем по политчасти – Алексеев, начальниками хирургических отделений стали Кодзаев и я.

Заместитель командира дивизии по строевой части приказал выбить из врачей «весь гражданский дух, научить их уважать армию» – и началась изнурительная маршировка по плацу. Часами мы ходили строем, отрабатывая строевой шаг, повороты, ружейные приемы, умение по-уставному отвечать на команды... И хоть на наших петлицах были командирские знаки отличия – «кубари» и «шпалы», гонял нас строем сержант. Его скрипучий голос: «Тяни носо-о-ок!», «Н-на-а-пррраво!» – рвал, казалось, ушные перепонки. После такой муштры мы обессиленно падали на холодную землю, и было не до медицины, лишь бы отдышаться!

Не знаю, сколько бы продолжалось такое, не обрати внимания на врачей начальник штаба дивизии Индык. Он тут же распорядился составить программу занятий так, чтобы в их основу была положена подготовка по специальности. Сержанта от нас словно ветром сдуло. Все – врачи, фельдшеры, технический персонал – принялись за изучение необходимых основ военно-полевой медицины. А поскольку вскоре стало ясно, что одних теоретических знаний мало, нужна практика, а в дивизии ее быть не может – тут крепкий, здоровый, в основном молодой народ, – мы стали ездить в псковскую областную больницу. Там только обрадовались этому, особенно нам, хирургам. Мы стали делать такие операции, на которые до этого больные нередко направлялись в Ленинград.

Узнав, что я из клиники Н. Н. Петрова, хорошо известного всем врачам – и военным, и гражданским, – ко мне прислушивались с повышенным интересом, постоянно спрашивали об установках Николая Николаевича по тому или иному вопросу, просили делать показательные операции по методике Петрова. Ведь кроме всего другого, Николай Николаевич был одним из тех, кто закладывал основы русской военно-полевой хирургии. Его монография о лечении раненных на войне появилась в свет еще в 1915 году, и в 1939 году вышло несколько изданий ее – переработанных, дополненных новыми данными. Будучи в этой области признанным авторитетом, он и в мирное время часто читал лекции о лечении свежих и инфицированных ран, а также по другим вопросам военной хирургии.

Мне было поручено разработать расписание занятий с врачами и фельдшерами в полевых условиях. Оно было тут же утверждено в штабе дивизии. Чтобы приблизить нашу работу к боевой обстановке, мы выезжали в поле, ставили там палатки, имитировали действия не только эвакуационной группы, но и хирургического отделения. Для проверки наших возможностей в операционной медсанбата взяли больного с аппендицитом из больницы, доставили его на военной санитарной машине в развернутый по всем правилам в лесочке ДПМ и оперировали в палатке... Все прошло организованно, по плану, без суеты, и самим было приятно: не зря едим казенный паек!

Наш медсанбат, хотя и находился при кавалерийской дивизии, коней не имел: люди и все санитарное оборудование располагались на машинах. Я, вспоминая резвую сибирскую лошадку Малышку, иногда просил кого-нибудь из сговорчивых строевых командиров дать мне боевого коня и далеко уезжал на нем. О чем только не думалось под звонкий перестук подков на пустынной настывшей дороге! Возвращался мыслями в клинику, видел себя среди помощников Николая Николаевича и уже твердо знал: даже если снова уеду на периферию, буду продолжать начатую научную работу. Без этого теперь не могу. Беспокоила нынешняя армейская неопределенность: нет, не на сборы меня призвали, и никто не мог ответить, когда демобилизуют и демобилизуют ли вообще...

Однажды ночью мы были подняты по тревоге, раздалась команда: «По машинам!» – и наш санбат двинулся в путь. Стояла глубокая зимняя ночь с яркой луной, с морозцем, с той удивительной тишиной, при которой шум моторов и людские голоса казались чуть ли не противоестественными. Покачивались в седлах конники, тонко звякали удила, поблескивало оружие. Из уст в уста передавалось шепотом одно слово: «Учения...» Ехали неизвестно куда, очень долго. На коротких остановках спрыгивали с машины, чтобы размять затемнив ноги, разогреться в движениях.

Ночь сменялась серым рассветом. Несколько раз над нами пронеслись эскадрильи самолетов. На повороте одной из дорог осматривали проходящую колонну командир дивизии и его заместители. Я узнал среди других начальника штаба Индыка в перетянутой ремнями бекеше, с тяжелым маузером и пашкой у бедра... У всех были озабоченные и встревоженные лица.

Наконец получен приказ остановиться и недалеко от шоссе, в лесу, развернуть дивизионный пункт медицинской помощи. Только-только справились с самой большой палаткой – нашей операционной, по уже пробитой колее подкатил автофургон с красным крестом. Стали спешно снимать носилки с ранеными, ставить их прямо на снег.

Стоны, ругань сквозь стиснутые зубы, алая кровь, проступающая через повязки... И – наша минутная растерянность: «Учения?! А вон еще машина с тяжелыми ранеными...»

– Этого на операционный стол! Этого – следующим... Живее!

Забегали санитары... Облаченный в стерильный халат, я натягивал резиновые перчатки. В палатке было холодно. Где-то далеко с протяжным вздохом рвались снаряды, а с неба падал на землю нарастающий рокот авиационных двигателей... В морозном воздухе повисло грозное слово: война. Война с финнами.

Впереди, за несколько километров от нас, шло жестокое сражение, и некогда было размышлять о внезапной перемене событий, о том, чем все это закончится. Мы, хирурги, работали, не разгибая спины. Такое огромное количество раненых в первый фронтной день! Пришлось установить три операционных стола: два хирурга оперировали, на, третьем терапевт или стоматолог делали анестезию. И вскоре поняли: со все возрастающим потоком раненых самим не справиться – надо налаживать эвакуацию.... Несколько дней слились в один, бесконечный и тяжелый. Как в калейдоскопе мелькали искаженные страданием и болью человеческие лица, слышались крики. Эвакуировали в глубокий тыл всех, кто мог выдержать транспортировку. Оставляли у себя лишь таких, кому без экстренного хирургического вмешательства грозила быстрая смерть. В основном это были раненные в грудь с открытым пневмотораксом.

Страшные рваные раны были у бойцов от финских разрывных пуль! Такие пули вырывают значительные участки тела, крошат кости, и если выстрел пришелся в грудь, ребра переломаны, через огромную зияющую рану проходит воздух, и когда он, особенно холодный, достигает плевральной полости, сразу же наступает тяжелый шок от раздражения плевры. Его так и назвали: плевро-пульмональный шок. Крайне тяжелое состояние раненого усугублялось постоянным засасыванием и выхождением воздуха через рану...

Чтобы справиться с таким шоком, мы после введения раненому морфия и переливания крови герметично закрывали рану. А сама операция, поскольку приходилось ее делать под местной анестезией, была очень болезненной. Между тем на нашем участке боевых действий из-за разрывных пуль 80–90 процентов раненых с проникающими ранениями грудной клетки имели открытый пневмоторакс.

Однажды к нам в медсанбат по пути в штаб корпуса заехал начштадив Индык. Он часто бывал у нас, и его помощь врачам – в обеспечении ДПМ дополнительным транспортом, в решении сложных хозяйственно-бытовых вопросов – всегда была скорой и ощутимой. И в дивизии, надо сказать, его любили за личную отвагу, веселый нрав, за заботу о рядовых кавалеристах. Сотни людей были в полках, и чуть ли не каждого Индык знал по имени или по фамилии, откуда родом, чем «знаменит». Это был умный командир, получивший закалку еще на фронтах гражданской войны, и хотя сейчас он являлся начальником штаба дивизии, к нему очень подходило утвердившееся в революцию звание комиссар.

– Тяжело, Федор Григорьевич? – спросил он меня.

– Привыкаем, товарищ начштадив.

– К войне нельзя привыкнуть. Поэтому и нужна как можно скорее победа.

И, помолчав, сказал:

– Вас хвалят, и я поздравляю и благодарю от имени командования...

– Служу трудовому народу!

Он пожал мне руку, вытащил из-за отворота бекеши и дал сложенную вчетверо газету, затем своей легкой пританцовывающей походкой старого конника пошел к автомобилю.

Я развернул свежий номер дивизионки и сразу же наткнулся на крупный заголовок со своей фамилией. Пожалуй, это был самый первый печатный отзыв о моей хирургической работе. Снежинки падали на газетный лист, и я с волнением смотрел на заметку, в которой рассказывалось обо мне.

Все-таки, оказывается, приятно, когда о твоей работе пишут чуть ли не высоким «штилем»! Правда, автор почему-то назвал нашу операционную «комнатой». А ею была продуваемая насквозь палатка, та самая, которую поставили в сугробах в первый день. Круглосуточно горели дрова в железной печке, была она раскалена до светящейся красноты, но холод по углам и особенно на полу все равно держался стойко. Когда часами стоишь у операционного стола, коченеют ноги. Позже я почувствую, что сильно застудил позвоночник – анкилозирующий спондилоартроз! – и боли в нем, то затихая, то вновь усиливаясь, уже никогда не прекратятся, и по сей день они мучают меня...

Но вернемся к тому дню...

С газетой, аккуратно упрятанной в карман гимнастерки, я поспешил в палатку, к операционному столу. Минул час, другой, и вдруг вбежал санитар и сказал, что привезли начальника штаба дивизии Индыка, то ли раненого, то ли убитого.

Когда мы внесли начальника штаба в операционную, он был без сознания. Пульс едва определялся. На груди, в области третьего ребра, недалеко от средней линии, виднелось небольшое входное отверстие от пули. Выходного же не обнаружили. Значит, пуля застряла где-то в груди. Но где именно? Можно было лишь гадать, рентгеновского аппарата мы не имели.

Когда снимали с Индыка нижнюю рубаху, я случайно наткнулся пальцами на плотный узел под кожей. Осмотрел его, показал коллегам, и сошлись во мнении: пуля. Теперь направление пулевого канала известно.

Расстроенный шофер рассказал, как все произошло... Начальник штаба Индык попал под прицельный выстрел «кукушки» – финского снайпера, замаскировавшегося в чаще, на верхушке дерева. Тот пропустил несколько грузовых машин с рядовыми-водителями в кабинах, а как только на шоссе выскочила штабная «эмка», он выстрелил... Надо заметить, что «кукушки», в основном финские военнослужащие из фанатичных националистов, получившие превосходную снайперскую подготовку, доставляли нашим бойцам много хлопот. Но вскоре у нас появились отличные мастера по борьбе с ними – бывшие охотники,

умевшие поражать белку и любого мелкого зверя в глаз, дабы не портить ценной шкурки. Были они, как правило, моими земляками – из сибирских мест.

...Пока начальнику штаба Индыку налаживали переливание крови, мы готовились к операции, обмениваясь суждениями.

– Следует торопиться, – говорил Кодзаев. – Судя по ходу пули, имеется сквозное ранение сердца или крупных сосудов, выходящих из него. В таком случае каждая минута на счету...

– Но раненый почти без пульса! – возражал доктор Будный, всегда крайне осторожно подходивший к каждой операции. – Он вряд ли выдержит... Нужно готовить. Тут спешка может привести к непоправимому. Как, Федор Григорьевич?

– Поддерживаю Кодзаева, – сказал я. – Плохой пульс может быть не только в результате шока, но и от внутреннего кровотечения. Пока не остановим кровотечение, вряд ли добьемся нормального давления. И ведь не исключено, что имеет место тампонада сердца [тампонада сердца нередко возникает при его ранении. Это сдавливание сердца кровью, скопившейся в перикарде] – тоны очень глухие...

– Пожалуй, – согласился Будный.

– Будем проводить противошоковые мероприятия во время и после операции... Есть другие соображения?

– Приступаем!

Откинулся полог палатки, и мы увидели каракулевою папаху и петлицы, шитые золотом. Приехал командир дивизии. На его осунувшемся, всегда волевым лице читались боль и тревога за жизнь боевого друга. Выслушав наш рапорт, он взял меня под локоть:

– Прошу лично вас делать операцию. Помните, взоры всей дивизии сейчас прикованы к вам...

Я, разумеется, понимал всю ответственность возложенного на меня дела, расценивал это как проявление самого высокого доверия... А ведь опыта в операциях на сердце у меня не было. И в учебниках по военно-полевой хирургии о таких ранениях написано мало, вскользь, поскольку подобные раненые в предыдущие войны считались безнадежными: или, обреченные, погибали сами по себе, или же, если ранение, на счастье, оказывалось не смертельным, в редких случаях поправлялись без хирургического вмешательства.

...После тщательной анестезии я сделал разрез параллельно третьему ребру с иссечением краев раны. Чтобы проникнуть в грудную клетку, ребро пришлось резецировать, причем его хрящевую часть. В современной грудной хирургии такое не допускается: сейчас уже известно, что хрящи ребер не восстанавливаются. Этот дефект остается у человека навсегда. Но тогда я этого не знал, да и не было ни времени, ни возможности думать над тем, что станет с ребром. Жизнь начальника штаба висела на волоске, все наши мысли и чувства были направлены на ее спасение. Однако, полагаю, для того времени и в той ситуации я поступил правильно. Именно благодаря иссечению ребра мы шли строго по ходу раны, практически внеплеврально, и опасность открытого пневмоторакса, при которой раненый с его слабым пульсом и состоянием шока наверняка бы погиб, исключалась.

При ревизии раны выяснилось, что пуля лишь на самую малость прошла выше сердца – через пучок крупных сосудов, пристеночно ранив один из них. Он кровоточил. Это было, в полном смысле слова, «счастлиное ранение». На миллиметр в ту или другую сторону... и верная смерть. Будь не обычная пуля, а разрывная – тоже бы смерть.

В ту пору вскрытие грудной клетки представляло собой целое событие в медицинской практике, заключало в себе множество неизвестных, каждое из которых – реальная угроза для жизни больного.

Ни у меня, ни у моих тогдашних ассистентов Кодзаева и Будного не было никаких навыков во внутригрудных операциях. Кроме того, приходилось учитывать, что я, молодой врач, имевший скромное воинское звание, оперировал начальника штаба дивизии, а командир дивизии терпеливо сидел в соседнем отсеке палатки, ожидая исхода операции. Не удивительно, что я сильно волновался.

Особенно напряженным моментом был тот, когда мы, следуя по ходу пулевого канала, вдруг увидели, что он идет около аорты, а из нее сочится кровь. А если тут рану сосуда всего-навсего прикрывает какой-нибудь сгусток, что нередко случается? Тогда как только я прикоснусь к нему, он отойдет, из аорты вырвется сильная струя крови... Попробуй тогда ее останови! Ведь аорта – самый крупный и самый мощный сосуд человеческого организма. А рядом с ним – легочная артерия. Тоже тончайшие стенки: малейшая неосторожность, и уже почти непоправимая беда... Затаив дыхание, слыша, кажется, не только как напряженно бьется собственное сердце, но и как тревожно стучат сердца стоящих возле помощников, я наложил на стенку сосуда два матрасных шва и осторожно затянул их. Кровотечение сразу остановилось.

Когда операция окончилась, я ощутил во всем теле такую слабость, что вынужден был сразу же попросить табуретку и сесть, и какое-то время никого не замечал, ничего не слышал. Мне принесли стакан крепкого чая... А потом вошел комдив, я встал, он что-то говорил мне, но все слова прошли мимо сознания...

Две недели мы выхаживали начальника штаба в полевых условиях, а потом эвакуировали его в тыл, уже зная, что теперь-то он будет жить...

Через год я встретил Индыка, и был он в полном здравии, по-прежнему служил в армии. Попросив его показать мне след от операции, я увидел, что незащищенный край легкого при кашле заметно «толкается», как бы выпячивается между ребрами. Однако Индык ни единым словом или даже намеком не дал мне понять, что он сомневается, так ли все сделал хирург. Человек большой внутренней культуры, он понимал, что врачи добились главного, спасли ему жизнь, выражать сомнения в их действиях, по крайней мере, бестактно... Он очень тепло, искренне благодарил меня.

Вполне понятно, что на войне, где человек ежесекундно ходит под угрозой внезапной гибели, хирургу доверяют не меньше, чем тому же командиру дивизии.

* * *

Фронтовые будни продолжались. Морозы достигали сорока градусов. Руки от постоянного мытья, холодного воздуха и резиновых перчаток огрубели, и пальцы плохо сгибались... Двое, трое суток работаешь без сна и отдыха, пока не почувствуешь: уже

предел, не только можешь задремать во время операции, но, что самое опасное, ошибиться, из-за крайне ослабленного внимания сделать что-то не так, раненый погибнет из-за тебя. Тогда идешь в свою палатку, падаешь как подкошенный на койку, а через час-другой уже будят: новая партия раненых! Вскочишь, не соображая, что сейчас – день или ночь, и хотя спал, не раздеваясь, в полушубке, все равно зуб на зуб не попадает...

Очень много поступало раненных в живот. После разрывных пуль при небольшом входном отверстии в брюшной полости было месиво из обрывков петель кишок, кусочков печени, крови, кишечного содержимого. Несмотря на то, что большинство этих ранений были именно пулевые, мы редко наблюдали, чтобы кишечник имел какое-нибудь одиночное повреждение. Обыкновенно повреждений было множество, одно от другого располагалось на значительном расстоянии, и приходилось, как правило, проводить ревизию всего кишечника, что отнимало дорогое время и дополнительные силы. Из-за тяжести и множественности ранений процент смертности в этой группе раненых был удручающе высоким.

Другая категория – раненые с переломами костей. Тут мы первое время довольно широко применяли гипс. Однако вскоре убедились, что в зимних условиях в брезентовых палатках он плохо сохнет, ломается на месте суставов, крошится и практически своей функции – придать конечности полную неподвижность – не несет. Поэтому мы старались хорошо отработать технику наложения транспортной иммобилизации, то есть создать полную неподвижность во время транспортировки...

Большие переживания доставляли нам раненные в голову с черепно-мозговыми повреждениями.

Сложнейшие многочасовые операции, на которые затрачивались громадные усилия, в наших примитивных палаточных условиях не давали желаемых результатов. Могли ли мы после трепанации обеспечить оперированным абсолютный покой и эффективный, продуманный до мелочей уход? В лесу, на морозе, среди стонов, криков, рева моторов, всей нервной фронтовой обстановки? Конечно же, нет... Поэтому обрадовало распоряжение, поступившее от главного хирурга армии: раненных в череп в медсанбате не оперировать, а срочно эвакуировать по назначению. Обрадовало тем, что отныне этой группе раненых будет оказываться стопроцентная квалифицированная помощь в стационарах.

Разрывные пули уродовали лица бойцов и командиров, тут тоже была для нас работа не из легких! Переломы челюстей, полное их размозжение, тяжкие повреждения мягких тканей. При этом очень часто – западение языка. Тогда только и гляди, как бы раненый не задохнулся. Приходилось изошряться, чтобы во время транспортировки как-то удерживать язык пострадавшего вплоть до того, что подшивали его к коже груди.

Трудно было бороться и с кровотечением из полости рта и корня языка. Остановка кровотечения в таких случаях имеет свои сложности, справиться с которыми в полевых условиях почти невозможно. Под местной анестезией это сделать весьма трудно, а дать наркоз не представлялось возможным. Подобные кровотечения чаще всего угрожают жизни раненого, и поэтому нам приходилось применять перевязку наружной сонной артерии на шее. Операция, конечно, несложная, но предполагающая твердые знания и умение свободно ориентироваться в тканях и сосудах.

На шее, непосредственно под ухом, общая сонная артерия разделяется на два сосуда: на наружную и внутреннюю сонные артерии. Первая снабжает кровью органы лица и шею, вторая – мозг. Если наружную сонную артерию можно перевязать безопасно, то перевязка

внутренней приносит гибель больным в пятидесяти – семидесятипяти случаях из ста. Таким образом, задача заключается в том, чтобы не ошибиться, не перепутать артерии. А они приблизительно одинаковы и, расходясь под острым углом, вместе направляются вверх: одна чуть вперед, другая чуть назад... Единственный отличительный признак – это то, что от наружной сонной артерии отходят ветви, а от внутренней нет, вплоть до ее вхождения в череп. Следовательно, прежде чем наложить лигатуру, необходимо обнажить артерию до места отхождения первой ветви, и только после такого зримого подтверждения перевязать ее.

В клинике Н. Н. Петрова мне не раз приходилось видеть больных с опухолями корня языка и полости рта, у которых наблюдалось массивное, часто неудержимое кровотечение. Остановить его можно было, лишь перевязав наружную сонную артерию. Я делал это свободно. И все же была у меня одна больная, в случае с которой я снова убедился, как осторожно надо ставить диагноз при любой операции, и как трудно заранее предвидеть ее исход, даже при всей безупречности исполнения.

Это была тучная женщина средних лет, страдавшая от рака полости рта и корня языка. У нее уже проявились метастазы в ребра и легкие и, кроме того, обильные кровотечения становились все чаще и все сильнее, Николай Николаевич попросил меня сделать ей операцию – перевязать наружную сонную артерию. Причем показательную операцию для большой группы курсантов и молодых врачей. Перед этим сам Николай Николаевич должен был прочитать лекцию, в которой обосновывал преимущества такой операции и ее относительную безопасность...

– Ты уж постарайся, папенька, – сказал он мне. – На днях наблюдал, проворно ты это сделал, чисто... А тут публика присутствовать будет!

...Была проведена тщательная местная анестезия, во время которой больная не только никак не реагировала на все наши манипуляции, но даже, в конце концов, без наркоза уснула. Тщательно отпрепарировав общую сонную артерию у места развилки, я продемонстрировал курсантам ту и другую артерии и место отхождения первой ветви наружной сонной артерии, выше которой по всем правилам наложил лигатуру. Операция прошла настолько гладко и четко, что я, обычно выискивающий в своих действиях шероховатости, на этот раз вслух сказал: «По-моему, лучше б я и не сумел!»

А больная после операции не проснулась... Это было настолько удручающим и непонятым, что все мы – и я в том числе – решили: в последний момент была перевязана все-таки не наружная, а внутренняя сонная артерия. Вскрыли: ничего подобного! Операция была произведена правильно, никаких нарушений в ее методике не имелось. А причины такой неожиданной смерти остались загадкой...

На Николая Николаевича эта смерть тоже подействовала сильно. Он хмурился, покашливал, в этот и последующие два-три дня был неразговорчивым, а на разборе операции сказал:

– Мы лишний раз убедились, как много неизвестного таит в себе каждая операция. И хирург обязан помнить, что в хирургии нет пустяков. Здесь все очень серьезно и всегда опасно. Помимо возможных ошибок и случайностей, от которых никто не застрахован, существует другое, о чем нельзя забывать: организм человека всегда индивидуален, изменчив и процессам изменчивости человеческого организма нет предела. Поэтому самая высокая требовательность к себе, постоянное совершенствование и строгое отношение к каждой операции, как бы она ни была отработана и известна, должны быть для хирурга законом!

И, вспоминая об этом здесь, в главе, посвященной дням финской кампании, я просто хочу подчеркнуть, что если неожиданностями и сложностями была наполнена работа в отличной, по-современному оборудованной и укомплектованной квалифицированными кадрами клинике, то можно представить, какие заботы ложились на плечи хирургов и младшего медперсонала в брезентовых палатках медсанбата, раскинувшихся под мглистым северным небом, утонувших в сугробах... Кроме огнестрельных повреждений, наблюдались самые разнообразные болезни, вызванные суровым фронтовым бытом, и, конечно, сотни тяжелых обморожений. Ведь при лютых морозах красноармейцы сутками находились в снегу, зачастую в непросыхающей одежде, с мокрыми ногами, не имея возможности разжечь костры... Впрочем, об этом много рассказано в книгах, повествующих о войне с белофиннами, а с чисто медицинской точки зрения этот вопрос освещается в специальных монографиях.

Однажды возле нашего палаточного городка раздалась сильная беспорядочная стрельба, и мы, хватаясь за пистолеты, выскочили наружу, думая, не окружены ли, не прорвался ли к нам неприятельский десант... Оказывается, из автоматов и винтовок, из чего только можно было, стреляли в небо бойцы комендантского взвода и оказавшиеся поблизости лыжники сибирского комсомольского батальона. Гремело ликующее «ура», летели в воздух ушанки, люди обнимались... Мир! Войне конец!

Известие об этом было неожиданным, и наша тогдашняя радость не поддается описанию. Каждый как бы с удивлением и даже недоверием осматривал себя: вот я, целый и невредимый, а побывал среди тысячи смертей, и хотя втайне надеялся, что вернусь домой, но слепой огонь косил всех, не разбирая, и что ему было до чьих-то переживаний, ведь сколько их, товарищей, осталось тогда лежать на снегу...

А у нас, в медсанбате, долгожданный день победы омрачился нелепой гибелью нашего товарища, штабного шофера Виктора. Это был шутник и храбрец, молодой симпатичный человек, в котором внутренняя культура сочеталась с российской бесшабашностью и удачью. В каких только переделках ни побывал он с машиной, участвовал даже в вылазках в тыл врага, ночами уходил с разведчиками за «языком», и ни одной царапины не было ни на машине, ни на нем самом.

И вот в первый день мира и тишины начальник нашего ДПМ решил проехать на передовую (отныне уже бывшую передовую!), посмотреть, где шли бои, откуда к нам поступали раненые. К начальнику присоединился замполит. Они оставили машину на дороге, а сами поднялись на пригорок, по которому пролегал рубеж нашей передовой линии. Все трое: Лоцман, Алексеев и Виктор – любовались прекрасным ландшафтом. Вдаль убегала лесистая равнина, припекало весеннее солнце, но деревья еще стояли под тяжелыми шапками снега, и на белом поле там и сям чернели выбросы земли – следы от разрывов... Вдруг что-то легонько треснуло, будто веточку переломили, и Виктор, вскрикнув, повалился наземь. Он прижимал руки к животу, а через них текла кровь.

Как выяснилось после, выстрел был сделан «кукушкой» – финном, который, еще никем не предупрежденный о конце военных действий, оставался в засаде, продолжал по своему усмотрению сеять смерть.

Пуля, поразившая Виктора, оказалась разрывной, и как во всех подобных случаях, при небольшой кожной ране в брюшной стенке были множественные ранения толстого и тонкого кишечника... Что только не делали мы с доктором Кодзаевым, как ни старались вырвать Виктора у смерти! Увы! На четвертый день он умер в страшных мучениях от острого перитонита.

Человеческая смерть по своей сути всегда бессмысленна, но погибнуть вот так, как Виктор, когда все радовались, что война позади, вдвойне обидно.

А от живых жизнь требовала дел. Всех раненых, которые могли выдержать дорогу, мы отправили в госпиталь. Около нескольких нетранспортабельных организовали постоянное дежурство.

Армейский быт с фронтового перестраивался на мирный лад: подтягивалась уставная дисциплина, снова вводились всевозможные занятия, строевая и прочие подготовки. Но мы теперь, после нескольких месяцев поистине нечеловеческого труда, могли хоть отоспаться, побыть на свежем воздухе, увидеть места, близ которых находились. Узнали, что в нескольких километрах поселок Питкерант, где небольшой лесопильный завод. Съездили туда, и меня поразило вид мертвого города: оставленные жителями пустые дома, хлопающие на ветру двери и оконные рамы, жуткое подвывание ветра в трубах промерзших печей... Ни в одно из помещений мы не заходили – тут еще не побывали саперы, и случилось, что излишнее любопытство или желание взять на память какую-либо вещичку оборачивалось трагедией. Финны искусно и хитро минировали все, вплоть до какой-нибудь красивой детской куклы...

И странное дело! После того, как стало уходить огромное фронтовое перенапряжение, мы, в течение этих месяцев забывшие о своих собственных хворостях и недомоганиях, вдруг снова ощутили их... Расслабилась нервная система, возникла необходимость дать отдых телу, спасти себя от невыносимого, всюду преследующего холода, прислушаться к тому, что происходит в собственном организме. У меня скрутило поясницу – ни согнуться, ни разогнуться, появились периодические боли в животе, и я вынужден был отказаться от армейского котла, искал для своего желудка, лишённого кислотности, пищу на стороне, что было нелегко. Лицо у меня приобрело серый, землистый цвет, я походил на старика. Во всяком случае, когда удавалось выбраться в город, в трамвае молодые и даже не очень молодые люди уступали мне место.

Не давала покоя мысль о том, что мы за фронтовую кампанию накопили ценнейший фактический материал, который на многие годы вперед может быть полезным отечественной медицине, разделам военно-полевой хирургии. Но, не будучи обработанным, систематизированным, он оставался мертвым капиталом. Несмотря на недомогание, я через своего непосредственного начальника, как и требовал устав, обратился к командиру дивизии с просьбой разрешить мне обработать данные, полученные за время боевых действий в нашем медсанбате. Разрешение последовало.

Вскоре я написал статью о работе хирургического отделения дивизионного пункта медицинской помощи, которую охотно опубликовал журнал «Военно-санитарное дело». С помощью фельдшеров своего отделения снял копии с трех тысяч карточек оперированных в медсанбате раненых. Изучал их всю весну и часть лета. Никогда с таким упоением ни трудился для науки, как сейчас, по существу не имея даже большого простора для самостоятельных занятий. Товарищи-военврачи добродушно подсмеивались надо мной, называя «Пименом-летописцем», но относились уважительно: воля и трудолюбие всегда привлекательны для других. Готовя монографию о хирургической деятельности ДПМ, старался дать полную картину объема хирургической работы в нашем медсанбате, затрагивал вопросы эвакуации, терапевтической службы, отчетности и высказывал соображения, основанные на врачебном опыте в боевых действиях.

Когда монография попала на отзыв профессору М. Н. Ахутину, в то время признанному специалисту по военно-полевой хирургии, он отозвался о ней в похвальных тонах, порекомендовал к опубликованию. Мне же посоветовал собрать отдаленные результаты операций, обобщить их и на основе уже написанной работы подготовить докторскую диссертацию.

Я чувствовал себя полководцем, который надежно взял в осаду неприступную крепость. Время и новые усилия – крепость падет!

У меня имелись адреса почти всех раненых, и я написал им, вложив в каждый конверт анкету с просьбой ответить на все ее вопросы.

И потянулись ко мне письма из разных концов страны... Бывшие бойцы охотно откликались на мой призыв, благодарили, что их помнят, интересуются состоянием их здоровья. Сотни судеб, сотни характеров, сотни почерков... Встречались и курьезные ответы. Вроде того, когда на вопрос: «Была ли вам сделана операция?», следовало: «Я действительно принимал участие в операции по взятию высоты 321».

За сравнительно короткий срок поступило тысяча двести ответов. В абсолютных цифрах этого материала было достаточно, чтобы делать выводы по некоторым вопросам. С душевной приподнятостью взялся я за обработку полученных данных, понимая их уникальность: подобных данных о раненых из одного медсанбата с отдаленными результатами в литературе еще не было.

А кроме всего прочего, письма от демобилизованных красноармейцев, от незаметных героев зимних сражений, заставили меня как бы заново пережить недавнее: многое и многих я вспомнил, и, уже как бы со стороны, еще более ярко виделся особенный характер советского бойца. Даже у нас в медсанбате все, начиная от санитаря и кончая пожилым военврачом, в самые черные часы опасности оставались твердыми, целеустремленными, предприимчивыми и до предела работоспособными. В грозную годину для Отечества русский человек преображается – приходят к нему собранность, дисциплинированность и, главное, высокое чувство личной ответственности за судьбу страны. Это подтвердили предыдущие войны, это ярко проявилось и здесь, в северных снегах, когда считавшийся несокрушимым финский железобетон дал трещины и развалился под напором красноармейских атак...

Как врач, я считаю, что наибольший героизм, исключительную силу духа и великое терпение продемонстрировали во фронтовых условиях раненые. Мороз, который иностранцы, оправдывая свои стратегические неудачи, величают союзником русских, на самом деле не щадит никого. Но наши бойцы стойко, без нытья переносили все лишения. Нужно было видеть, как организованно, с пониманием ждали своей очереди занять место на операционном столе вышедшие из боя раненые красноармейцы. Стояли и лежали на снегу перед входом в палатку, поддерживали ослабших, пропускали вперед тех, для кого минутное промедление могло стать роковым... А ведь у каждого – собственное страдание, собственная боль, которая способна подавить рассудок!

Не грех повторить тут, к месту, хорошие слова, еще сто лет назад сказанные отважным офицером российского флота, первым исследователем Аральского моря А. И. Бутовым. Характеризуя деловые качества русского человека, моряк-ученый писал: «...он сметлив, расторопен, послушен, терпелив и любит приключения – мудрено обескуражить его, он смеется над лишениями, и опасности имеют в глазах его особую прелесть».

Воспитанный на интернациональных принципах, я с детства с глубоким уважением относился к людям всех национальностей: тот, кто любит свой народ, не может не уважать другие народы. Я всегда любил и преданно люблю свой русский народ. И это не слепая любовь. Чем больше я его узнаю, тем преданнее к нему отношусь. Благородные качества русских превосходно воспеты еще Державиным:

О Росс, о доблестный народ,
Единственный, неповторимый,
По мышцам ты неутомимый,
По духу ты непобедимый,
Ты сердцем прост. Душою добр.
Ты в счастье тих, в несчастье бодр.

В сугубо научной докторской диссертации, которую я начинал готовить тогда, не допускаются лирические отступления. Наряду с производственными вопросами, столько мыслей и пережитых чувств просилось на бумагу, что, вполне вероятно, именно в ту пору в какой-то мере зарождалось то, что нынче нашло развитие в этой книге...

Светлым событием тех же военных дней, оставившим теплые воспоминания на всю жизнь, была поездка в Москву, в Кремль в числе награжденных бойцов и командиров.

* * *

В июне 1940 года меня демобилизовали, и я с опасением – буду ли принят? – появился в клинике. Мои армейские сапоги издавали в тихих белых коридорах такой пронзительный скрип, что я пугливо оглядывался... Откуда-то выбежал Чечулин, обнял, повел показывать другим. Он тоже лишь недавно сменил военное обмундирование на штатский пиджачок, а воевал в самом пекле: на Карельском перешейке.

И я думал, волнуясь: что ждет меня? Фактически через день-другой заканчивается мой официальный срок пребывания в аспирантуре. Будет ли вакантное место ассистента? Захочет ли Николай Николаевич взять именно меня? Ведь есть ординаторы, которые работают с ним уже по нескольку лет, тоже надеются, и он каждого из них знает больше, лучше, чем Федора Углова...

Петров встретил приветливо, расспрашивал, чем мне приходилось заниматься в медсанбате, но когда я, в свою очередь, спросил его: оставят ли меня в клинике? – неопределенно пожал плечами и пошел посоветоваться к директору института.

Неопределенность всегда томит, и я направился вслед за Николаем Николаевичем, сел в директорской приемной, стал ждать... Вскоре он вышел и, увидев меня, удивился:

– Опять ты, Углов, ходишь за мной как тень отца Гамлета! Узнаю, папенька, твою настойчивость...

– Места себе не нахожу, – признался я.

– Вот тебе подписанное ходатайство, поезжай с ним в Москву, к наркому. Будет у него хорошее настроение, даст разрешение, попадешь в неурочный час, ничего тогда, папенька, не поделаешь, все мы, понимаешь, под богом ходим, – шутливо напутствовал Николай Николаевич.

И я привез из Москвы приказ о назначении Ф. Г. Углова на должность ассистента в клинику Н. Н. Петрова. Когда ехал из столицы в Ленинград, неподвластная воле улыбка блуждала на моем лице, удивляя, вероятно, попутчиков по купе: что это, мол, за блаженный едет?! Знали б они, что значит для меня работать рядом с любимым учителем. Да еще после того, когда так истосковался по большой хирургии, по мирной хирургии...

Глава XI

Что за прекрасные дни были! На дворе стояло лето 1941 года, и я с увлечением писал последний раздел монографии: отдаленные результаты хирургической работы дивизионного пункта медицинской помощи. Уже точно знал: подобного исследования до сих пор не было. А значит, опыт, оцененный с помощью отдаленных результатов, будет иметь большее значение для выработки показаний и противопоказаний к той или иной операции на ДПМ и вообще в полевых условиях.

В солнечном сиянии лета настоящее и будущее виделось только в радужных тонах. Я наконец имел то, о чем еще совсем недавно мог только робко мечтать: место ассистента у Н. Н. Петрова. Кроме того, теперь твердо живу в Ленинграде, в городе, который при первой же встрече пленил меня неповторимой красотой, дал ощущение сыновней причастности к великим деяниям предков, утвердил во мне стремление в собственных скромных делах быть полезным народу. И опять же: я пишу первую в своей жизни научную книгу, плод накопленных наблюдений, изысканий, раздумий... Что еще нужно для счастья? Во всяком случае, остальное или приложится со временем, или будет добыто трудом... В это верилось.

Заветным местом стала публичная библиотека. Приходил в ее высокие залы прямо-таки с трепетным чувством: торжественно-деловая тишина, склоненные головы возле зеленых абажуров, легкий шелест переворачиваемых страниц, и книги, книги! Они не переставали манить к себе, и я часами готов был рыться в старых, желтых от времени фолиантах или листать еще пахнущие свежей типографской краской новые номера журналов, и с радостью неизбалованного золотодобытчика находил драгоценные крупички – материал по интересующему меня вопросу... Невольно припоминал детство, живо рисовались картины минувшего, особенно вот эта: в доме нет ни керосина, ни свечей, а уже темно, и я лежу на полу, у дверцы горячей печурки, при слабых, неравномерных бликах огня жадно вчитываюсь в строчки книги. Отсвет пламени такой, что не вся страница видна, приходится передвигать ее и так и сяк. За окном вой пурги, стонут сгибаемые в три погибели молодые деревья перед крыльцом, и нет ничего чудеснее на свете, чем вот так, до бесконечности, лежать на животе перед печкой и смотреть в багрово озаренную книжную страницу...

Теперь, став ассистентом, я получил еще одно преимущество, к которому спервоначалу не мог привыкнуть: возможность спокойно работать весь вечер, не боясь, что тебя оторвут от занятий, срочно вызовут к больному. В клинике оставался дежурный врач, и в случае нужды он посылал за кем-нибудь из заведующих отделениями... Такого счастья я раньше не знал – ни будучи участковым врачом, ни в Киренске, ни на военной службе.

Что омрачало мою нынешнюю жизнь – так это то и дело возникающие боли в застуженном позвоночнике. Состояние здоровья требовало хоть кратковременного отдыха, которого я, по существу, не имел с университетских лет. Поэтому по совету коллег-специалистов решил на месяц поехать в Крым, в Евпаторию, чтобы принимать там грязевые и рапные ванны. Железнодорожный билет приобрел на понедельник, 23 июня. А воскресенье было задумано провести с друзьями за городом.

Там, в зеленом окружении, в разгар веселья, и настигло, а вернее, с размаху ударило это слово: война! Показалось, что огромная скала, кренясь, валится на нас, закрывая солнце...

Люди бежали от реки, от леса к платформе, с трудом вталкивались в переполненные вагоны пригородных поездов, из уст в уста передавалось, что в 12 часов по радио будет транслироваться правительственное сообщение. И все было на лицах в тот миг: недоумение, растерянность, ожидание и решимость. Каждый знал, что война – это горе, но никто тогда, даже мы, недавние фронтовики, не могли предположить истинных размеров свалившегося бедствия... Пока же было ясно одно: все летит кувырком – заботы о лечении, мечты об отдыхе, спокойная работа, нормальная жизнь с ее будничными хлопотами и праздничными озарениями...

* * *

Нет, не было массовой паники первых дней, о которой, к своему удивлению, нет-нет да прочитаешь сейчас в каком-нибудь литературном труде. Та растерянность, что пришла к людям в первые часы известия о нападении фашистской Германии, тут же сменилась напряженной собранностью, стремлением найти свое место в строю защитников Родины.

Даже у нас в клинике те больные, что еще вчера лежали в расслабленном состоянии, полные сомнений в своем будущем, стали требовать немедленной выписки. Они быстро одевались и уходили домой, а многие сразу же шли в военкоматы. Огромная нервная встряска, высокое чувство ответственности, коллективизма оттесняли на задний план все сугубо личное. Какие болезни, когда смертельная беда нависла над всем народом! Только очень немногих, совсем недавно перенесших операцию, мы переводили в больницы, предназначенные для гражданских лиц, остальные торопливо выписывались. В короткие часы клиника была превращена в госпиталь, готовый принять раненых бойцов.

Странное состояние, в котором человек находится в период тяжелых испытаний, пока еще толком не изучено. Он вдруг обнаруживает в себе удивительную способность работать дни и ночи, недели без сна и отдыха. Приходит «второе дыхание», исчезают боли, которые досаждали до этого. Полуголодный, плохо одетый, человек стойко переносит такие тяготы, какие при мирной сытой жизни свалили бы его с ног в короткий срок... Я видел тому множество примеров, испытал это на себе.

Меня, как уже говорили, тревожили сильные боли в позвоночнике. Кроме того, мучили гастрит и гепатит, оставшиеся после тифа со студенческой поры. И я раздумывал, что мне лечить сначала: спину или желудок? Однако, едва началась война, я словно бы забыл про все свои в общем-то не пустячные недомогания и стал есть грубую пищу таких сомнительных качеств, что в иное время тут же обязательно бы слег. А теперь – куда что делось! И позвоночник не напоминал о себе до окончания войны.

О подобном же рассказывал мне инженер из Омска Борис Широков, с которым мы сразу после войны познакомились и подружились в южном санатории. Тогда еще совсем молодой человек, он приехал лечить ноги, суставы которых воспалялись при малейшем охлаждении. А на фронте он командовал ротой разведчиков, все четыре года редко когда ночевал под крышей, находился на передовой и в тылу врага, и, по его словам, «хоть бы разочек насморк схватил!» После демобилизации, полгода не прошло, начал болеть. «От маленького сквознячка простужаюсь, – жаловался он мне, – кутаюсь так, что перед стариками стыдно. А до этого сколько осенних рек форсировал, и хоть бы хны!»

Позже из письма его матери я с грустью узнал, что капитан запаса Борис Широков умер от крупозного воспаления легких, подхватив простуду жарким летним днем...

Кстати, он, Борис Широков, со своими бойцами участвовал в работе по маскировке исторических памятников Ленинграда. На наших глазах красавец-город одевался, как воин, в маскхалат: погасло под брезентом золото шпилей Адмиралтейства и Петропавловской крепости, укрывались статуи, зеркальные витрины магазинов закладывались мешками с песком, а стекло оконных рам перечеркнули узкие полосы бумаги, чтобы оно выдерживало вибрацию, вызванную недалёкими взрывами... На окраинах вздыбились «ежи», появились глубокие рвы на пути возможного танкового прорыва немцев. Затаившись, город был готов к отпору.

Сводки с фронта при всей их сдержанности несли в себе тревогу, но мы надеялись на мощное контрнаступление, которое остановит зарвавшегося врага и уничтожит его. А затем, конечно, окончательный разгром фашизма в его собственном логове... Об этом говорилось упорно: на работе, в очередях, ставших теперь обычным явлением, в трамваях. Вспоминали Кутузова, который продуманным стратегическим маневром завлек французов в глубь России, а затем нанес им сокрушительный удар. Бежали они, теряя знамена, и черные вороны сторожили их гибель на долгих российских дорогах...

Однако долгожданного контрнаступления не было, и постепенно рушились наивные предположения о скорой победе. Становилось ясно: эта война не похожа на все предыдущие, она будет не на живот, а на смерть, до победного конца, и нам не на кого надеяться, кроме как на собственную силу и собственную сплоченность. Тут не на месяцы счет, а, скорее всего, на годы.

И ленинградцам, как никому другому, суждено было до конца испытать горькую чашу войны, показав всему миру несгибаемость русского духа и крепость нашего патриотизма.

Враг стремительно приближался к городу. Зеленобрюхие самолеты с ненавистной свастикой на фюзеляже прорывались через заградительный заслон зенитного огня. Первые упавшие бомбы, их ужасающий свист, сизые султаны взрывов, разрушения, пожары, жертвы... Запылали Бадаевские склады – огромное зарево было в полнеба, в чадающем дыму гибли тысячи тонн продовольствия, предназначенного для снабжения ленинградцев.

На крышах госпиталей рисовали огромные красные кресты, надеясь, что это защитит от бомбовых ударов, – так рекомендовалось Женевской конвенцией! Но что было фашистам до международных договоров. Оповестительные знаки госпиталей, гражданских больниц, школ, наоборот, стали лакомой приманкой для воздушных пиратов: при поражении этих объектов они могли внести на свой личный счет наибольшее количество жертв.

В один из июльских дней спешил на работу, когда вдруг завывли сирены и диктор объявил о воздушной тревоге. Послышались частые хлопки выстрелов зенитных орудий, а в небо словно бы ввинчивался нарастающий гул чужих самолетов. Стало видно, как несколько бомбардировщиков со свастикой на крыльях, прорвавшись через оборонительное кольцо, угрожающе идут к центру города. Милиционеры и дежурные торопили людей пройти в бомбоубежища, а я что было сил побежал к госпиталю, поскольку находился уже на улице Салтыкова-Щедрина, совсем близко... Тут же увидел, как из многоэтажного здания Текстильного института на Суворовском проспекте, в котором разместился другой госпиталь, поднялись две красные ракеты. Диверсант подавал сигнал! Текстильный институт располагался совсем рядом с Главным военным госпиталем, и наш был тоже близко, всего в каких-то двух кварталах. Вражеский корректировщик, по-

видимому, рассчитывал на разрушение сразу трех лечебных учреждений, только их, – ведь в этом районе не имелось никаких промышленных предприятий и военных объектов. Удар предназначался беззащитным людям!

Вбежав к себе в кабинет, я позвонил в отделение милиции, сообщил о ракетах, и не успел положить трубку на рычаг, как два сильнейших взрыва, раздавшихся где-то неподалеку, встряхнули наше здание, треснули стекла в окнах, я едва устоял на ногах и, выглянув в окно, увидел смрадный столб огня как раз на Суворовском бульваре! Медленно оседали пыль и дым...

Позже я узнал о последствиях случившегося...

В этот час в вестибюле госпиталя собралось множество народу: пришли родственники и знакомые медперсонала, чтобы навестить в воскресный день своих близких, дежуривших тут круглосуточно. Находились здесь и ленинградцы, желавшие побывать в палатах у раненых бойцов, в том числе юные шефы – школьники. Ходячие раненые тоже спустились сюда, в просторный вестибюль, в надежде кого-нибудь встретить, послушать разговоры, узнать новости... Когда завывла сирена, все столпились у лестницы, ведущей в подвальное помещение – в бомбоубежище. Сюда же начали сводить и приносить на носилках раненых с верхних этажей. И мало кто успел спуститься в подвал, да и тем это не помогло. Огромного веса и огромной разрушительной силы бомба, пробив все этажи, разорвалась прямо под вестибюлем, и огонь поглотил всех, кто находился здесь. Центральный и некоторые запасные выходы были завалены рухнувшими перекрытиями. Оставшиеся в живых на верхних этажах бойцы и медицинские сотрудники оказались отрезанными полыхавшим внизу пожаром. Некоторые из них начали выпрыгивать из окон и разбивались. Под леденящие душу крики, под треск всепожирающего пламени быстро работали спасательные команды, но не многих удалось спасти.

А налеты участились, становились ежедневными, приблизившийся враг принялся методично обстреливать город из дальнобойных орудий. После уничтожения Бадаевских складов был резко сокращен паек, и уменьшался он еще несколько раз: голод тоже двинулся в наступление на ленинградцев. Затягивалась петля блокады: уже невозможной стала эвакуация, поступление продуктов в Ленинград прекратилось, вышли из строя водопровод, канализация. На истощенных людей навалилась зима...

Я пишу эти строки, и самые противоречивые мысли и воспоминания теснят мою грудь, мучаюсь оттого, что нет тех слов, которые были бы способны выразить во всем величии подвиг ленинградцев. Невыплаканные слезы до сих пор живы в каждом из нас, перенесшем блокаду, по тем, кто не дождался торжества Победы. А тихая гордость, что при невероятных лишениях и испытаниях ленинградцы не склонили головы, служит утешением и опорой...

По сей день на Невском проспекте и в других местах Ленинграда можно увидеть сохраненные для потомков надписи блокадной поры, свидетельства тех суровых дней: «При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна».

Сейчас, особенно для юных, – это уже история. Для нас же тогда это была сама жизнь: такие надписи-предупреждения давали возможность спешившим на работу или на боевое дежурство людям придерживаться той стороны, где прямое попадание менее вероятно.

Однажды воздушная тревога застала меня на улице Пестеля. Тень от внезапно вынырнувших из-за туч самолетов хищно прошлась по асфальту и зданиям. Послышался пронзительный вой несущихся к земле бомб, казалось, они падают на голову. Я метнулся

под арку большого дома, прижался к стене. Неподалеку ухнуло несколько взрывов. Потом все смолкло, лишь лихорадочно били зенитки да кроваво-багровые отсветы близкого пожара взметнулись над крышами. Я, держась поближе к домам, побежал к госпиталю, и не успел удалиться от арки на двести – двести пятьдесят метров, как услышал за собой почти слившиеся воедино два мощных взрыва. Упал, а когда, поднимаясь, оглянулся, здание, под аркой которого я минутами назад укрывался, лежало в развалинах, огонь пробивался сквозь пыльно-дымное облако...

В институт, где расположился наш госпиталь, за время блокады попало пять авиабомб и тринадцать снарядов. Пять раз в зимнее время все оконные стекла клиники вылетали полностью, многие вместе с рамами. Живописать, как это происходит, пожалуй, не нужно. Каждый даже при небогатой фантазии в состоянии представить... Могу только сказать, что, несмотря ни на что, работа не прерывалась ни на час, как, впрочем, и в любом ленинградском учреждении. Однажды в самый разгар операции раздался сигнал воздушной тревоги. Но разве отойдешь от раненого! И мы продолжали работать... Сначала послышался лихорадочный перестук зениток, затем нарастающий рев авиационных двигателей, вой крупных бомб и взрывы. Падают, проклятые, рядом и – все ближе! Вдруг одна взорвалась прямо на улице Салтыкова-Щедрина, метрах в двухстах от операционной: осколки стекол и щепки от рам со свистом полетели в нас и на лежащего на столе раненого. Мы невольно склонились над ним, закрывая операционное поле от смерча из дробленого стекла и кирпичной пыли. И тут же, через минуту, другой взрыв: комната закачалась, как корабль на волнах. Весь многоэтажный угол и вся наружная стена операционной кафедры неотложной хирургии, что находилась в соседнем крыле нашего здания, отвалились, и операционная предстала перед нашими пораженными взорами как бы в разрезе, с выходом прямо на улицу... А поблизости из воронки бил огромный, разбрасывающий брызги фонтан метра на три в высоту. Оказывается, бомба повредила трубопровод, снабжающий водой наш район. Стремительные потоки неслись по тротуару... И к слову заметить, долго нам после приходилось ходить с ведрами за водой в соседние здания, подземные коммуникации которых не пострадали.

...Но раненый требовал внимания, и мы, оправившись от потрясения, освободившись от осколков стекла и мусора, продолжали операцию.

Первое время раненые сами просились, чтобы при налетах их уносили в бомбоубежище, а кто мог, на костылях, поддерживая друг друга, спускались туда сами. Это была очень тяжелая работа для медперсонала: по несколько раз в сутки перетаскивать лежащих раненых с этажей в подвальное помещение, а потом снова поднимать в палаты. Порой только доставят сотни носилок с бойцами наверх, как через минуту-другую новое объявление о воздушной тревоге. Начинай все сначала! Но никто не роптал: надо, так надо! А вскоре все и в госпиталях, и у себя дома устали бегать вверх-вниз. Даже смертельная опасность сделалась привычной, появился известный фатализм: если суждено погибнуть от бомбы, она достанет тебя всюду. Практически не существовало гарантированного, безопасного места. Кроме того, давала знать и самая обычная физическая усталость. Все были измотаны голодом.

Но об этом чуть позже. Главное же, примеры убеждали: крупная бомба, как правило, пробивает все этажные перекрытия и чаще всего взрывается на уровне подвального помещения, там, где от нее прячутся. Как в случае с госпиталем, расположенным в Текстильном институте. А многие ленинградцы, распределенные по отрядам самообороны, при звуках sireны обязаны были мчаться на боевой пост – на улицу, на чердак или на крышу. Какое уж тут убежище! И в большинстве своем это были подростки и женщины... С каким хладнокровием четырнадцати-пятнадцатилетние девочки и мальчики, а также

пожилые женщины во время налетов врага, когда на город сбрасывались десятки тысяч зажигательных бомб одновременно, боролись с ними! На высоте – под тобой лишь ненадежная, мокрая или заледеневшая кровля, постоянно уплывающая из-под ног, – зажигалку, разбрасывающую ошметья жирного огня, оттащивали с опасного места, тщательно засыпали песком, успевали загасить пораженные огнем участки. Бесстрашие ленинградцев спасало город от страшных пожаров – налеты не давали немцам желаемых результатов.

Еще более коварными были артобстрелы. Снаряды влетали в окна, ударялись о мостовую, сея смертоносные осколки, оставляли зияющие дыры и трещины в самых прочных зданиях. После каждого такого артобстрела к нам привозили людей с оторванными конечностями, с тяжелыми ранениями груди или живота. Как-то доставили женщину, в комнату которой снаряд влетел через форточку. Он угодил ей в живот. Спасти женщину не удалось.

Понятно, что мы в госпитале все время были в центре событий. Раненые, как военные, так и гражданские, поступали к нам зачастую, что называется, с улицы, порой в очень тяжелом состоянии. И сразу доставлялись в операционную...

Так было с Юрием Георгиевичем Смоленским.

В тот вечер мы задержались в операционной дольше обычного. За день перенесли три мощных налета. Не успевали справиться с одной партией пострадавших от бомбежки, как привозили новую... И когда я, вымотавшийся окончательно, собирался отдохнуть, меня вызвали в приемный покой. На столе экстренной операционной лежал человек с окровавленной головой.

Как потом рассказывал Юрий Георгиевич, он в качестве дежурного штаба местной противовоздушной обороны объезжал на велосипеде свой участок, и на улице Салтыкова-Щедрина его настиг сигнал воздушной тревоги. Он поднажал на педали, рассчитывая, что проскочит в свой подъезд, как вдруг что-то с визгом пронеслось мимо него, ахнул близкий взрыв... Очнулся он на тротуаре, с тупой болью в голове, липкая кровь заливала глаза.

Все же Юрий Георгиевич нашел в себе силы подняться и медленно пошел вперед, то и дело вытирая текущую с головы кровь. Попытался нащупать нестерпимо ноющую рану, но пальцы вдруг провалились в какую-то щель, и, казалось, нет у нее дна... Ему стало совсем плохо, стошнило, и он какое-то время стоял, прислонившись к решетке Таврического сада. Превозмогая боль, слабость, он заставил себя сдвинуться с места, пойти по направлению к Институту усовершенствования врачей, где был теперь госпиталь. Его увидели и помогли добраться до нас начальник районного штаба МПВО Сытинов и председатель райисполкома Шаханов...

Сняв с раненого пиджак и рубашку, мы промыли и очистили от кровавых сгустков его волосы, стали опасной бритвой снимать их вокруг раны. Волосы густые, жесткие, а бритва тупая, дерет нещадно, оставляет порезы, и из них тоже кровь...

– Братцы, нельзя ль потише? – мученически улыбаясь, просит раненый, и приходится удивляться, какое у него самообладание. – Ведь вы никак с корнем волосы выдергиваете?!

– Ничего, друг, терпи. Бритву не успеваем точить. Ты не первый...

– Вот когда встану, так и быть, наточу вам бритву.

– Другим, значит, легче будет. А ты пока терпи...

Едва успели обработать рану и я, надев перчатки, приготовился оперировать, где-то неподалеку под аккомпанемент зениток раздался сильный взрыв, и ментально погасло электричество. Вслед за этим последовало еще два или три взрыва... Похоже, что бомбы упали возле нашей электростанции. Мы стояли в кромешной темноте, боясь к чему-либо прикоснуться стерильными перчатками. Затем я распорядился, чтобы зажгли керосиновую лампу.

Свет от нее скудный, с трудом можно разглядеть след осколка – рваноушибленную рану, идущую вдоль теменной области длиной в пятнадцать сантиметров, шириной в четыре и глубиной – в три. Надкостница разорвана, а кость осталась целой. Если бы осколок отклонился всего на несколько градусов, быть бы непоправимому: оказались бы пораженными и кость и содержимое черепа. Ничего не скажешь, повезло!

Смазав все операционное поле йодом, обложив раненого простынями, провожу тщательную местную анестезию. И проклятье! – опять взрыв, опять рядом. И в этот же момент диктор сообщает об артобстреле города. Снаряды падают в нашем районе, мы слышим даже, с каким протяжным и противным свистом пролетают они над крышей, А раненый на столе, он теряет кровь...

– Скальпель, – говорю сестре.

Она протягивает нож, и в этот миг снаряд ударяет чуть ли не у стены: с треском разлетаются стекла в рамах, дрожит пол. Скальпель из рук сестры падает на пол. Она вскрикивает в отчаянье:

– Это же последний стерильный! Остальные в обработке...

– Тогда дайте лезвие для безопасной бритвы, – прошу я, – но скорее!

В финскую кампанию мы часто пользовались этими лезвиями для обработки ран, и теперь, выполняя мое указание, операционная сестра, на всякий случай, держала их в баночке со спиртом... Зажав лезвие в длинный зажим, я быстрым движением обрезал самый край ушибленной и загрязненной раны. Из разреза началось сильное кровотечение, остановить которое можно было, только наложив швы... Раненый держался выше всякой похвалы – с долготерпением, присущим лишь волевым натурам. Он понравился мне, захотелось узнать, кто он... К этому времени в приемный покой доставили еще несколько человек, ставших жертвами артобстрела, – раненных в грудь, живот, с раздробленными конечностями. Предстояла большая работа. И закончили мы ее лишь поздней ночью.

Уходить мне было некуда: дом, где я жил, разобрали на дрова, книги и вещи нашли приют у родственницы. Оставаясь ночевать в кабинете, я решил перед сном навестить палату к нашему новенькому, чью рану приводил в порядок бритвенным лезвием при скудном свете керосиновой лампы. Как-никак мой крестник при особых обстоятельствах! Уже знал, что это инженер Смоленский Юрий Георгиевич.

Он лежал спокойно, в полном сознании, с пульсом хорошего наполнения. Шока нет, и это главное.

– Вам крепко посчастливилось, – сказал я. – На сантиметр поглубже, был бы задет мозг. В сорочке родились!

- А мне еще бабушка об этом в детстве говорила.
- Как чувствуете себя?
- Хоть сейчас на крышу, зажигалки гасить. Иль дрова грузить, тоже можно.
- Совсем скоро у вас будет такая возможность...
- Завтра? Так тогда я пойду!

И он сделал движение, показывающее, что тут же, немедленно встанет с койки... Да, оптимизма и твердости духа Юрию Георгиевичу было не занимать! После войны Юрий Георгиевич много лет возглавлял трест строительства зеленых насаждений Ленинграда, увлеченно работал над тем, чтобы в любимом городе было больше самых красивых парков, садов, скверов, шумящих листвой бульваров...

* * *

Как ни тяжелы и опасны были обстрелы и бомбежки, не в них заключалась главная причина страданий и смерти ленинградцев в затянувшиеся дни блокады. Самым страшным врагом был голод. По своей поражающей силе он оказался результативнее снарядов и бомб. Костлявая рука его беспощадно тянулась к каждому защитнику Ленинграда. Первыми жертвами стали мужчины, занятые на тяжелых работах, затем – служащие, получавшие меньший, чем рабочие, паек, и пожилые люди, особенно из интеллигенции, плохо приспособленные к лишениям. И, наконец, так называемые иждивенцы, у которых паек был не просто маленьким, а крошечным... Каждое утро можно было видеть изможденных людей, везущих на саночках к кладбищу своих умерших родственников, зашитых в простыни. Вскоре все прикладбищенские улицы были завалены трупами, лежащими на земле или на саночках. А позднее, когда голод уже властвовал всюду, покойников просто выносили ночью во двор или куда-нибудь поблизости, лишь бы в сторонке от проезжей дороги. Не было уже сил даже зашивать их в простыни.

Я рассказываю об этом, а перед глазами хмурое зимнее утро, фиолетовые снежные тучи на небе, заиндевелившие каменные дома и чье-то слабое с хрипотцой дыхание то ли рядом, то ли сзади меня. Обессиленные люди, как тени, выскальзывают из подъездов и идут... Куда? На работу. Отечные, бледные до синевы лица, угасшие или, наоборот, лихорадочно светящиеся глаза; сгибает тяжесть противогазных сумок...

Голод таил в себе ужас, не сравнимый ни с какой бомбежкой. Он был способен атрофировать рассудок, убить волю, нарушить реальные представления об окружающем. Многие голодавшие, находясь на краю гибели, утрачивали общечеловеческие понятия об отношении к близким, как бы нравственно слепли и глохли.

Тут вспоминается мой старый приятель, крупный ленинградский инженер довоенной поры Сергей Федорович С-в.

Когда ему предложили с семьей эвакуироваться, он отказался наотрез, заявив, что здесь похоронены его родители, он сам не мыслит себя без Ленинграда и будет делать все возможное, чтобы помочь родному, городу. С ним остались жена-учительница и

девятилетняя дочь Танюша. Она родилась, когда в семье уже потеряли надежду, что появится когда-нибудь ребенок, и потому отец и мать души в пей не чаяли.

Категорически отказываясь уехать на Большую землю, Сергей Федорович, разумеется, не мог даже предположить, какие трудности выпадут на долю семьи, никогда не имевшей никаких запасов впрок. И голод дал знать о себе тут же. Паек, получаемый по трем карточкам – рабочей, служащей и детской, – оказался более чем скудным. Первое время Сергей Федорович старался уменьшить собственную порцию и дать Танюше съестного хоть чуть-чуть побольше, однако вскоре стал страдать от дистрофии мучительнее, чем жена и дочь. У него появились отеки, слабость, боли в желудке, он едва мог встать на ноги, а спустя несколько недель уже не поднимался с постели...

Мне сообщили, что Сергей Федорович тяжело болен. Я понимал, что означает его болезнь и в каком лекарстве он нуждается. У меня не было возможности помочь ему чем-нибудь. Сам, как хирург, кроме рабочей карточки ничего не получал, военный паек мне не полагался, хирургическим отделением в военном госпитале я заведовал, оставаясь лицом гражданским, в звании доцента. Все же за три дня, отказывая себе, набрал литровую банку каши и пошел с ней к С-ым.

Сергей Федорович, высохший, как скелет, но с толстыми отечными ногами, лежал на кровати не бритый, закутанный в тряпье, и почти не обратил на меня внимания, когда я поздоровался и стал осматривать его. Даже это было больно сознавать: такой контраст по сравнению с прежним Сергеем Федоровичем, внимательным, предупредительным, всегда безупречно одетым!..

Жена и дочь тоже находились в крайней степени истощения: с такими же отеками на ступнях ног, но сознание и реакция на окружающее были у них нормальными. Я сказал, что принес им немного каши. Мать с дочерью страшно обрадовались этому, в глазах появился тот блеск, который можно наблюдать лишь у наголодавшихся людей, вдруг увидевших еду, и они уже не отрывали взгляда от банки, которую я вытаскивал из портфеля. Тем не менее они решили в первую очередь покормить Сергея Федоровича. «Вот, Сережа, Федя принес тебе поесть...» Больной сразу же оживился, руки у него затряслись, он замотал головой, во всем его облике появилось нетерпенье; попытался подняться, но не смог, и попросил посадить его за стол... Одной рукой он крепко прижал банку к груди, другой схватил ложку и стал жадно, не пережевывая, глотать кашу.

Жена и дочь с болью и жалостью смотрели на него, на то, как исчезает каша... Он, раньше такой самоотверженный по отношению к ним, такой любящий, сейчас не думал о них, не желал понимать, что они так же голодны, им тоже нестерпимо хочется есть... А он даже вроде бы упивался возможностью в одиночку поесть сытно, как мечталось ему, наверно, уже давно...

– Сережа, ты бы Тане немного оставил, – робко сказала жена. – Кроме того, не ешь все сразу. Это вредно. Оставь половину, доешь потом.

– Нет! – каким-то изменившимся, резким голосом закричал больной, еще крепче прижимая банку к груди и стараясь трясущейся рукой захватить в ложку как можно больше каши. – Нет! Это мне принес Федя! Не трогайте! Мне!

Было ясно, что мы сделали большую глупость, отдав ему сразу всю кашу...

Доев до конца, он тщательно и очень долго осушал банку изнутри, засовывая в нее давно уже не мытые пальцы и облизывая их. Когда никаких следов от каши не осталось, он с сожалением повертел в руках уже сухую банку, и его интерес к окружающему моментально угас. Сонно пошатываясь, он от стола пошел к постели, с помощью Тани забрался на кровать, натянул одеяло на голову...

Я сидел молча, пораженный переменой, происшедшей с человеком. Если деликатнейший Сергей Федорович мог столь эгоистично поступить с женой и дочерью, которых очень любил и ради которых всегда был готов пожертвовать всем, – значит, наступила деградация психики, он находится на грани невменяемости.

К сожалению, я ничем больше не мог помочь ни Сергею Федоровичу, ни его семье, и ушел от них в гнетущем состоянии. Сцена, увиденная в этом доме, когда больной человек хищно поедает всю пищу на глазах у таких же голодных членов семьи, не уходила из сознания. Как я узнал позже, Сергей Федорович вскоре умер, а жена и дочь, перенеся тяжелейшую дистрофию, все же пережили блокаду и остались живы. Танюшу, окончившую педагогический институт, я встречал в шестидесятых годах с мужем – морским офицером и белокуроыми дочками-близнецами. Ни я, ни она в разговоре не коснулись того памятного нам дня...

Запомнились мне еще несколько случаев, в какой-то мере характеризующих крайнюю степень физического и психического истощения, вызванного тяжелым, затяжным голоданием.

Женщина несет из столовой кастрюльку с супом. Скользко. Она падает, и чуть ли не весь суп выплескивается на дорогу. Сама женщина и бросившиеся к этому месту прохожие хватают грязный снег со следами супа на нем и с жадностью поедают его...

...Стою в очереди в булочной. Хоть сам мало чем отличаюсь от остальных, не могу без душевных мук видеть до крайности изможденные лица. Даже дети как скорбные старички, с глазами, все повидавшими и уставшими от жизни.

Очередь небольшая, все хорошо видно. К чести нашей городской администрации нужно сказать, что в Ленинграде не было изнурительных очередей с многочасовым стоянием в них. Получали мы мало, но то, что нам полагалось, выдавали в срок и организованно.

Около прилавка, чуть поодаль от общей очереди, стоит подросток лет шестнадцати. Он заворуженно смотрит на руки продавца, отвешивающего хлеб. Вдруг, улучив момент, хватает с весов небольшой граммов в сто довесок и тут же на глазах у оцепеневшей очереди вонзает в него зубы. К нему бросаются. Паренек падает на пол и, закрывая лицо руками, защищает его не столько от возможных ударов, сколько оттого, чтобы не был отобран хлебный ломтик, который он продолжает откусывать и жевать... С большими усилиями отняли у подростка остатки довеска, а он отошел в сторонку и стал исподлобья смотреть на людей. Было видно, не потому досадовал, что досталось от продавца, а оттого, что не успел доесть кусочек хлеба...

Люди как-то быстро стали равнодушны к самому факту смерти. Она уже не казалась чем-то противоестественным в этой жизни, исчез известный мистический страх перед покойником. В некоторых семьях – я знал – делалось так... Когда кто-либо из членов семьи умирал в начале или середине месяца, родные старались скрыть это. Иначе, заявив о смерти, они обязаны были сдать продуктовые карточки скончавшегося. И чтобы сохранить их до нового месяца – до очередной выдачи карточек – мертвого держали в постели, закутав в

одеяло. А чтобы не внушать подозрений, сами порой спали на той же кровати, под тем же одеялом.

Транспорт в блокадном городе не работал. Надев на себя все теплое, что только имелось, ленинградцы шли по улицам медленной, тяжелой походкой... Тот, кто споткнулся и упал, мог рассчитывать лишь на одно: его поднимут и поставят на ноги. Чем голодный поможет голодному? Нужна пища, а ее нет ни у кого. И если человек оказался не способным идти дальше, он сидел так, пока не подъезжала «скорая помощь», вызванная по телефону кем-либо из прохожих.

Бывало и так: человек падает посреди тротуара и тут же умирает. Проходящие мимо остановятся, убедятся, что никакой помощи уже не надо, и, обойдя упавшего, прежним медленным и усталым шагом бредут дальше.

Верную гибель сулила потеря продовольственных карточек. При них, обеспечивающих хоть какое-то питание, люди ежедневно умирали сотнями, а когда человек лишался этого единственного источника для поддержания жизни, его тем более ничто спасти не могло.

Я знаю несколько таких печальных случаев. И первый из них связан с именем нашей медсестры Анны Федоровны Бахон, уже немолодой женщины, которую все мы уважали за старательность в работе, за отзывчивый, покладистый характер. Однажды она со слезами на глазах сообщила, что у нее украли хлебные карточки, а была лишь середина месяца. Две недели и без того истощенному человеку жить без куска хлеба! Как мы ни старались помочь ей, отдавая то суп, то второе, она слабела и за несколько дней до конца месяца перестала ходить в клинику. К ней послали другую медсестру. Та, вернувшись, сообщила о кончине Анны Федоровны...

Вскоре подобное же несчастье произошло с нашей санитаркой Наташей: она потеряла карточки в самом начале месяца, причем не только хлебные, но и продуктовые. В клинику Наташа пришла с закаменевшим лицом, с погасшими глазами, в которых были покорность судьбе и ужас. «Вот она, моя смерть», – шептала она.

Один из раненых, случайно узнав о Наташиной беде, собрал всех ходячих больных в большой палате и сообщил им об этом. Все удрученно молчали, пока наконец один из них, горевший в танке башенный стрелок, не сказал: «Я так думаю, славяне... Нас пятьдесят раненых, и каждого Наташа таскала на себе, за каждым ухаживала, как за братом. Возле тебя... и тебя!.. и меня тоже, ночи не спала! Так ведь?» – «Так», – ответили раненые. «А неужели, – продолжал танкист, – мы, фронтовики, не выручим ее в момент смертельной опасности? Предлагаю ежедневно каждому выделять по пять граммов хлеба. Мы от этого не умрем, а Наташу спасти можем. Кто за это, прошу поднять руки!» Проголосовали единогласно и тут же поручили пожилому старшине быть исполнителем всеобщей воли. Все тридцать дней он аккуратно отрезал от каждого пайка по пять граммов хлеба.

Наташа осталась жива, и после войны еще около тридцати лет работала санитаркой в ленинградских больницах.

Конечно, такие проявления благородства, высокое сознание, присущие советским людям, помогали ленинградцам выстоять блокаду. Я сослался на один эпизод, но, понятно, их было сотни, тысячи. Не зафиксированные ни в каких документах, чудесные проявления человеческой души озаряли те невыразимо трудные дни, и, как всегда, человек тянулся к человеку, находя сочувствие и поддержку. Жили и умирали с мыслью, что город не будет сдан проклятому врагу, святой час возмездия и Победы придет!

А кроме голода терзал еще один беспощадный внутренний враг – холод. Зима выдалась лютая, морозы начались рано и, почти не ослабевая, держались до весны. С одной стороны, в этом было свое преимущество: Ладожское озеро сковало льдом еще в ноябре, что позволило открыть по нему легендарную «дорогу жизни». С другой стороны, жестокие холода навалились на ленинградцев, когда те остались без парового отопления, без дров, при бездействующих водопроводе и канализации. Было где морозу разгуляться в наступившем городе!

Из окон домов, как жерла пушек, высунулись трубы железных печурок самых различных конструкций, установленные в каждой квартире. Дровяной запас, имевшийся в городе, разошелся стремительно, и на топливо пошли деревянные дома, затем мебель, книги, подчас уникальной ценности. Но не было срублено ни одно дерево в знаменитых ленинградских парках и садах: их, по поверью, помнящих Петра, знавших Пушкина, ленинградцы оберегали с трогательным самопожертвованием, предпочитая умереть от холода, чем поднять руку на национальную святыню. Разве это тоже не убедительный факт человеческого благородства в самую невыносимую для жизни пору? Народ, способный на такое, бессмертен.

А я, как врач, наблюдал людей, которые, находясь у себя в комнате, закутанные во все, что только имелось в доме, обмораживали себе ноги до полного омертвения. Мне показывали черные пальцы, соединенные со стопой обнаженными сухожилиями...

Естественно, голод в союзе с холодом быстрее приводил к истощению нервной системы. Вот какую картину удалось мне увидеть в один из дней...

Посреди большой пустой комнаты, перед слабо горящей печуркой сидела женщина, во что только не одетая и чем только не прикрытая! Все, что можно было сжечь – мебель, книги, доски пола, – уже вышло дымом, а холод донимал, не отпуская. Он мутил рассудок, и без того ослабленный длительным голодом.

Женщина жалобно сказала мужу:

– Ваня, мне холодно. У меня лед внутри. Подбрось дров в печку. Ты видишь, она гаснет...

Муж помутившимся взглядом осмотрел всю комнату, но не нашел ничего, что бы могло гореть.

– Лиза, потерпи. Мы все сожгли. Вечером выйду на улицу, что-нибудь, может, найду...

– Я не доживу до вечера! Я говорю тебе, во мне лед! Ты эгоист, Ваня, ты меня не жалеешь...

Муж схватил топор и начал рубить на дрова входную дверь, единственное, что в этой комнате могло гореть... Через несколько дней они оба умерли от холода и голода. Это были мои знакомые, с которыми я когда-то вместе учился в клинике Оппеля у Марии Ивановны Торкачевой.

Холод усиливал голод. Чувство голода было мучительным и постоянным. Оно держалось удивительно долго, даже когда в снабжении продовольствием произошли коренные изменения... Людей, впавших в тяжелое состояние от длительного недоедания, помещали в лечебные учреждения и осторожно начинали кормить небольшими порциями

калорийной пищи. У больных постепенно восстанавливались утраченные или ослабевшие функции органов пищеварения... Но это, само собой, будет позже, а в первую зиму блокады голод унес многие тысячи коренных ленинградцев.

Об ужасных размерах катастрофы, вызванной голодом, мы смогли составить некоторое представление лишь весной, когда с первыми лучами апрельского солнца все, кто мог стоять на ногах и держать лопату, вышли на очистку города.

Убирали снег, грязь, мусор, восстанавливали дороги для проезда транспорта и... хоронили трупы. Количество их угнетало, оно не укладывалось ни в какие представления о возможных жертвах. Все кладбища и улицы, прилегающие к ним, были завалены мертвыми телами. Оказалось, что в квартирах огромных многоэтажных домов тоже лежат давно умершие. А в некоторых из них вообще не осталось ни одного живого человека. Мертвецы, мертвецы... Всех возрастов, в разных позах, но похожие одним – умерли от голода... Пустые грузовые машины въезжали во двор и отправлялись отсюда доверху нагруженные окоченелыми телами героев.

Да-да, героев!

Сам перенесший блокаду, я могу свидетельствовать, что за все эти девятьсот жестоких дней ни разу ни от кого из ленинградцев не услышал, что лучше было бы сдать город, что это может принести облегчение... И ни один раненый или умирающий, к которому я по долгу врача приходил на помощь, не сомневался, что родной Ленинград выстоит.

Величественный подвиг ленинградцев, уже талантливо отображенный в десятках произведений, все же, на мой взгляд, еще ждет своего глубокого, самого полного и всестороннего раскрытия в той главной трагедийно-оптимистической книге о блокадном Ленинграде, которая будет написана с художественной силой и страстью.

* * *

В военном госпитале среди раненых я встречал множество великолепных людей. Очень памятна мне сестричка из батальона морской пехоты Оля Головачева.

Студентка кораблестроительного института, Оля в первые же дни войны ушла добровольцем на флот, стала санинструктором, причем таким, что с одинаковым успехом вытаскивала раненых из-под шквального огня и вместе с «братишками» ходила в штыковые атаки. Небольшого роста, стройная, хорошо сложенная, она была на удивление выносливой, отчаянной и одновременно удачливой. Много месяцев провела она на передовой, в самом пекле, но на Оле не было ни одной царапины. В батальоне отчаянных и дерзких в боевых делах моряков Оля пользовалась такой любовью, что обидь кто-нибудь «сестричку», не сносить ему головы...

Однако везенье везеньем, а заговоренных от пуль нет. И Оля однажды, вытягивая на плац-палатке с поля боя контуженого командира, попала под немецкую автоматную очередь. Капитан-лейтенант был убит, а Оля получила сразу четыре раны. Две пули глубоко царапнули кожу на груди. Третья прошла по подошве левой ноги, чуть не пополам рассекла стопу. Четвертой пулей была перебита плечевая кость и вырван значительный кусок мягких тканей. По счастливой случайности остались неповрежденными сосуды и нервы плеча. Так что имелась надежда на полное восстановление функции руки. Это мы поняли сразу же, как только Олю в тяжелом шоковом состоянии привезли к нам в госпиталь.

Когда девушка пришла в себя, она обвела нас внимательным взглядом и твердо сказала, что валяться в госпитале не намерена и хочет знать, как скоро ей можно будет вернуться на фронт. Этот вопрос так не вязался с ее нынешним опасным положением, что мы невольно улыбнулись. Она поняла это по-своему: что мы, дескать, снисходительно относимся к ней как к женщине, и снова резко заявила, что ее место в батальоне, она требует лечить как можно скорее... На предложение эвакуироваться ответила категорическим отказом.

Так мы познакомились с Олей Головачевой, и вскоре все в госпитале знали ее, и не было, пожалуй, палаты, где бы не радовались, когда появлялась она, жизнерадостная, веселая, готовая прийти на помощь каждому, кто в ней нуждался. Свое ранение Оля переносила стойко: много ходила, несмотря на большой, сгибающий стопу рубец. Долго не срасталась у нее плечевая кость. Несколько месяцев Оля носила свою руку поднятой до уровня плеча, на специальной шине, прибинтованной к туловищу наподобие крыла самолета. Костная мозоль не образовывалась. В ту зиму, когда от дистрофии в той или иной степени страдал почти каждый боец Ленинградского фронта, раны вообще заживали медленно и плохо. У Оли лишь к лету стала определяться неподвижность отломков и возникла надежда на скорое выздоровление. Не переносившая бездействия, она помогала медсестрам в операционной и перевязочной, переписывала необходимые бумаги в госпитальной канцелярии.

Если в родном батальоне Олю ласково звали сестричкой, то у нас в госпитале за неунывающий и неугомонный характер, за морские словечки, которыми она пересыпала свою речь, за неизменную полосатую тельняшку, ее прозвали «братишкой», чем Оля, кажется, втайне гордилась. Несколько раз с передовой к ней приезжали обвешанные оружием морские пехотинцы, и нужно было видеть Олю в эти минуты: таким восторгом и таким счастьем сияли ее глаза! Не было для нее ближе и роднее людей, чем они, окопные моряки, обветренные, суровые юноши. Это их немцы с невольной уважительностью и, конечно, со страхом величали «черными дьяволами», «черной смертью»...

Однажды теплым летним днем я приехал в госпиталь на велосипеде, и Оля попросила разрешения покататься на нем. Мне было приятно доставить ей хоть такое маленькое удовольствие, однако предупредил: будь осторожнее!

А вскоре Оля вошла в кабинет с серым, погасшим лицом, и я понял: что-то случилось!

– Говори, – тревожно заторопил ее.

– Штанина от брюк попала в цепь передачи, и я упала... прямо на больную руку... и что-то, Федор Григорьевич, хрустнуло. Боюсь, что это перелом на старом месте...

Ее побледневшие губы задрожали, можно было подумать, что она вот-вот заплачет... Но нет! Не из таких Оля, чтобы слезы показать.

– Вы простите меня, Федор Григорьевич, что я причинила вам неприятность...

Досадуя на себя, что так необдуманно позволил Оле сесть на велосипед, я пощупал пульс на ее здоровой руке, он был частый и малый. Значит, у нее от боли травматический шок, только силой воли она держится на ногах.

Обследование показало, что действительно при падении произошел повторный перелом на прежнем месте. При этом костной мозоли обычным путем получить уже не удастся.

Выход один – помочь ее образованию при помощи жесткого медицинского способа... Дрелью просверлили несколько дырочек, идущих через толщу мозоли, и ни звука, ни стоны не проронила Оля сквозь крепко стиснутые зубы...

За лето авитаминоз у Оли прошел, раны стали заживать быстрее, к осени она совсем поправилась, пролежав в госпитале почти десять месяцев. Мы расставались с грустью, как люди, которые стали друг для друга родными. Она попросилась в ту же часть, в которой воевала и в ожидании отправки, живя в городе, ежедневно приходила к нам в лихо сбитой набекрень бескозырке, в бушлате и флотских клешах. А потом она уехала на фронт, и мы стали получать ее письма, очень живые, подробные, с увлекательными рассказами о фронтовой жизни. Мы уже знали, что отныне наша Оля не санинструктор, а боец разведроты.

Вот кусочек из одного Олиного «треугольника», помеченного жирным штампом военной цензуры «Проверено»:

«...На днях нас шестнадцать человек послали в разведку, с заданием добыть «языка». Темной ночью мы ползли через минные поля, сначала свои, потом немецкие, делая для себя проход, обезвреживая мины. Неслышно подкрались к фашистским окопам, увидели долговязого часового, и двое наших матросов в один миг заткнули ему рот, связали руки и ноги. Затем восемь человек остались здесь, наверху, сторожить и, если понадобится, прикрыть, а другие восемь (я в том числе) поползли к блиндажу. Там послышался разговор и один из немцев вышел из двери в темноту. Тут же ему зажали рот и заломили руки, потащили к своим, где уже лежал один связанный фриц. Так двух «языков», из которых один оказался офицером, мы приволокли в штаб, не сделав ни одного выстрела!»

В своих письмах Оля рассказывала об эпизодах боевой жизни, в них и намек не было на то, какие трудности она испытывала... Письма дышали ненавистью к врагу, в них с какой-то прямо-таки трепетной искренностью звучало огромное светлое чувство любви к родной стране. Я очень жалею, что не удалось сохранить их все: опубликованные, они могли бы стать интересным свидетельством минувших военных дней, показали бы бесстрашие и чистоту души одной из наших славных современниц, которая не мыслила своей судьбы в отрыве от судьбы Родины.

Мы настолько привыкли к Оле, как к «братишке», что я, признаюсь, удивился, когда в очередном письме она вдруг сообщила, что полюбила «удивительного человека», он офицер и они собираются после войны пожениться. В ответном письме я пожелал Оле счастья, приписав, что наша общая просьба – беречь себя, не лезть безрассудно под пули... Неожиданно переписка оборвалась, и долгое время мы ничего не знали об Оле, пока однажды меня не вызвал из операционной фронтовой офицер, оказавшийся как раз тем самым человеком, о любви к которому писала Оля. Он сказал мне:

– Оля Головачева всегда говорила о вас с большой теплотой и благодарностью. Поэтому я посчитал своим долгом найти вас и сообщить, что она героически погибла...

Как тягостно было услышать это! Никак не удавалось совместить в сознании смеющееся лицо Оли, ее задорный голос, ясную улыбку и вот это – весть о смерти... В голосе незнакомого мне старшего лейтенанта были печаль и глубокая тоска. Отвернувшись к окну, боясь, кажется, разрыдаться, он тихо проговорил:

– Как я боялся этого... Но разве она слушалась кого? Она сражалась за Ленинград.

Справившись со своим волнением, старший лейтенант рассказал о последнем дне Оли Головачевой.

В составе разведгруппы она была заброшена в ближайший тыл врага, и когда моряки, выполнив задание, двигались к своему переднему краю, у нейтральной полосы они неожиданно натолкнулись на немецкий заслон. Встретил их плотный автоматный огонь. Можно было прорваться лишь стремительным, отчаянным броском. И Оля вместе с боевыми товарищами пошла в рукопашную... Сраженную pistolетным выстрелом в упор, матросы все же вынесли ее из боя и похоронили флотского старшину Олю Головачеву как героя, с воинскими почестями. Тело девушки было прикрыто знаменем, и над земляным холмиком прозвучал прощальный салют...

В госпитале, нужно сказать, я не встречал таких, кто бы, получив ранения, умолял эвакуировать их из блокадного города или, поправившись, не просился бы снова на фронт, в свою часть. Многие попадали в госпиталь с тяжелыми ранениями по два-три раза и, встав на ноги, снова рвались на передовую... Только однажды я встретил симулянта, он ходил согнувшись и делал вид, что распрямиться не в силах.

Тщательно обследовав его с помощью различных приемов, мы убедились: отклонений от нормы нет, этот рыжий парень с выпуклыми глазами и покрасневшими краями век пытался нас обмануть. Сделав вид, что ему поверили, я попросил его лечь на живот. Ничего не подозревая, он совершенно свободно исполнил требуемое, тем самым полностью распрямив спину. Теперь-то уж не было никаких сомнений: сгибание и разгибание позвоночника у него хорошее.

– Встать на ноги! – сказал я.

Он встал с кряхтением, опять согнувшись.

– Разогнись!

– Не могу!

– Разогнись немедленно, – тихо, но грозно скомандовал я. – Иначе пойдешь под трибунал.

Он немного разогнулся.

– Еще! И еще... Вот так! Иди и доложи начальству, что здоров и просишь отправить тебя на фронт. Кругом, шагом марш!

И симулянт сразу стал прямым, стройным и зашагал в кабинет к начальнику госпиталя.

Это был совсем молодой, безусый парень, и я не оформил на него бумаги в военный суд, решив, что нашего урока будет достаточно...

Вот единственный случай за время моей госпитальной работы, за все четыре фронтовых года – единственный. А все другие ленинградцы, все бойцы, пришедшие издалека защищать наш город, которых я видел тогда, боролись и умирали как герои.

Таким, в частности, был Гриша Захаров из Батуми.

Бесстрашие и воинская смекалка позволили ему за год с небольшим пройти путь от взводного до командира стрелкового батальона. Он был прирожденный офицер, в котором бесстрашие, уже упомянутое мной, сочеталось с грамотностью, молниеносным умением ориентироваться в самой сложной обстановке и твердостью характера. Так писали о нем во фронтовой газете, которую мы читали в госпитале, когда он находился на излечении у нас.

При контратаке крупный осколок мины ударил его в левый бок, в нескольких сантиметрах от сердца, разорвав грудную мышцу, обнажив ребра и сосуды в подключичной области. Был он на волосок от смерти.

В медсанбате мышцу подшили к ребрам, но выздоровление раненого шло очень медленно, скорее всего из-за плохого питания на фронте в те месяцы. К нам в госпиталь его привезли с рубцующейся раной. Из-за боязни оторвать пришитую мышцу Гришину руку держали привязанной к туловищу. И рана рубцевалась так, что резко ограничивала движения руки.

А Гриша рвался на фронт.

Как сейчас вижу... Он сидит в кабинете напротив меня, в молодых, по-кавказски жгучих глазах огоньки нетерпенья, и это же нетерпенье во всем его облике, оно угадывается даже в нервном подрагивании тщательно выбритых щек.

– Когда же, Федор Григорьевич?

– Не скоро, Гриша.

– Убегу в свой полк... честное слово!

– Вернут. С такой же рукой не только воевать, работать хорошо не сможешь...

– Что же делать, Федор Григорьевич? – И уже мольба во взгляде. – Война-то идет, а я где?!

После тщательного обследования Захарова мы пришли к выводу, что при настойчивом желании и терпеливом отношении самого раненого руку можно попытаться разработать. А операция на этих рубцах грозит повреждением сосудов и тяжелыми нежелательными последствиями, риск почти без шанса на успех. Так что выхода два: или оставить все не трогая – Захаров будет демобилизован с инвалидностью; или же ему нужно, не щадя себя, разрабатывать руку, – и это единственная надежда на возвращение в строй.

Так и объяснили Грише.

И он, усвоив приемы лечебной физкультуры, по многу раз в сутки, днем и ночью разрабатывал свою руку, до пота и крови, в полном смысле этого слова. От упражнений рубец лопался и рана кровоточила. Но Гриша, не давая заживать новой ране, настойчивыми тренировками разрывал рубец еще больше... Становясь к косяку двери, он, перебирая пальцами, тянул руку выше, выше. И вот уже она на уровне плеча, а через несколько дней он с восторгом показывал нам, что поднимает ее почти над головой. Но этого мало: руку нужно поднять выше головы без «почти» и – чтобы она встала вертикально!

Заходя в палату, мы видели, как Гриша, мокрый, с красным от напряжения лицом, старается распрямить руку так, чтобы поставить ее в вертикальное положение. Сколько упорства и какая выносливость! Он брал табуретку, с силой поднимал ее кверху, а затем

рывком запрокидывал назад. От этих движений на расстоянии можно было слышать, как трещат рубцы его старых ран. А он не унимался... Кончив упражнения, от ужасных болей не знал куда деть себя, но, отдохнув немного, опять светлел лицом и вновь продолжал упражнения... «Железный старший лейтенант» – так звали Гришу в палатах.

За каких-нибудь два-три месяца Гриша полностью разработал руку! Ранки постепенно затянулись нежным эластичным рубцом, полностью восстановилась функция легких... Гриша сиял, пел песни, и не было, казалось, человека счастливее его! А мне извиняющимся тоном говорил:

– Очень привык к вам, скучать буду, но ехать-то надо, понимаете, надо! Фронт-то как гремит, а!

В день отъезда он зашел проститься возбужденный, в тщательно подогнанной форме, с привинченными к гимнастерке орденами.

– Разрешите, Федор Григорьевич, вас поцеловать... Мы обнялись.

– Добился ты своего, Гриша...

– Я офицер.

– Теперь до победы!

– Оставляю вам адрес, чтоб встретились мы на Черном море...

– Приеду, спасибо.

– А я сегодня от мамы из Батуми письмо получил. Хожу и улыбаюсь.

– Письму?

– Ну да! Как взгляну на конверт – маминой рукой написано. Она писала. Вот и улыбаюсь...

Потом я смотрел в окно, как шел он двориком, стройный, перетянутый портупейными ремнями, легкий в походке... А вскоре мы получили от него весточку: сообщал, что уже воюет, но теперь не батальонным, а в должности помощника начальника штаба полка. Письмецо дышало молодостью, разговор о серьезном перемешивался остротами и шутками. Я сразу же ответил ему. Но отозвался не Гриша, а его фронтовой товарищ. Он писал:

«Ваше письмо, товарищ Углов, уже не застало ст. л-та Захарова в живых. Горячо любимый всеми в полку, мой друг Гриша погиб две недели назад, в момент, когда к нашему КП прорвались фашистские автоматчики. Гриша организовал оборону, обеспечил выигрышное положение, и в ту минуту, когда поднимал группу защитников в контратаку, вражеская пуля сразила его. Подоспевшие к месту боя наши бойцы полным уничтожением фашистского десанта отомстили за смерть ст. л-та Захарова.

Друг Гриши

Капитан Соловцов».

С печалью и грустью читал я сообщение незнакомого мне капитана Соловцова, а виделся Гриша, настойчиво, с одержимостью, преодолевая жуткую боль, разрабатывающий руку, чтобы защитить город Ленина, свою страну, а затем работать на мирной, отдыхающей от взрывов и огня земле... Было родственное в судьбах Гриши и Оли Головачевой, жизнь которых оборвалась в самом расцвете. И я рад возможности хоть вкратце рассказать о них – они достойны нашей памяти, как любой из тех, кто пал в борьбе с фашизмом.

Мне, кстати, сразу же после победного сорок пятого года довелось побывать в Батуми. И я, признаться, долго колебался, идти ли к несчастной матери Гриши Захарова, потерявшей своего единственного сына? Что скажу ей в утешение? Но все же решился... Отыскал нужный дом, стены которого были увиты гибкими виноградными лозами. На мой стук вышла немолодая грузинка, одетая во все черное. Это и была мать Гриши. Я назвал себя и тут же понял, что она хорошо знает мое имя. Но не оживились подернутые скорбью материнские глаза... Молча, со строгим лицом выслушала она мой рассказ, как ее сын лежал у нас в госпитале, как ценой невероятных тренировок сумел добиться возвращения на фронт, как потом пришло к нам письмо от его сослуживца... Ни одного вопроса не было задано мне. Мать все хорошо знала, обо всем передумала, все было пережито ею... Некоторое время мы молчали. И в эти минуты очень уж громким и совершенно лишним казался шум улицы. Я, сославшись на занятость, сказал, что мне, к сожалению, нужно уходить, и тихо прикрыл за собой дверь...

Был жаркий южный день, когда в расплавленном небе плавало тоже расплавленное солнце, а синева у горизонта сливалась с лазурью моря, и белый пароход уходил вдаль. Белые аккуратные домики приморского города стояли в тени развесистых каштанов и густых акаций. Молодые, с загорелыми лицами моряки, позванивая медалями на ослепительных форменках, шли мне навстречу... И я думал, что совсем недавно здесь бегал черноволосый резвый мальчик по имени Гриша. А затем, уже юношей, он гулял тут под руку с любимой девушкой, и счастливая мать встречала его у калитки. Сын отвечал ей любовью, был светлым животворным лучиком в ее, в общем-то, нелегкой жизни: муж – заместитель начальника погранзаставы – погиб еще в двадцатые годы.

Бедная мать! При встрече со мной в ней боролись два противоречивых чувства: с одной стороны, природное гостеприимство требовало радушно принять меня, врача, который заботливо лечил ее сына; с другой, сердце говорило ей, что именно я своим лечением стал невольным виновником гибели Гриши. Зачем я старался? Чтобы вылечить и снова послать под пули?! Зачем же сам Гриша так изнурял себя, терпел боль и страдания? Чтобы никогда не вернуться в материнский дом?!

Я вышел к морю, сел на камень, смотрел на набегающие волны, слушал мерный шум прибоя... У моря чудный дар: возле него становишься собраннее и спокойнее, то, что до этого тревожило тебя, тут как бы становится яснее, недавняя тревога уступает место уверенности. Нет, думал я, Гриша Захаров иначе поступить не мог. Когда Отчизна в опасности, выгоды для себя не ищут! И не она ли сама научила его главному: благородству, чистоте, тому, что в своей сыновней любви он был одинаково предан – и матери и Родине. И я, как хирург, по отношению к Грише и ко многим-многим другим всего-навсего лишь честно исполнял свой долг...